

СЕРГЕЙ  
ДОВЛАТОВ

# Филиал



АЗБУКА-КЛАССИКА

## Annotation

Сергей Довлатов — один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX — начала XXI века. Его повести, рассказы и записные книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. «Заповедник», «Зона», «Иностранка», «Наши», «Чемодан» — эти и другие удивительно смешные и пронзительно печальные довлатовские вещи давно стали классикой. «Отморозил пальцы ног и уши головы», «выпил накануне — ощущение, как будто проглотил заячью шапку с ушами», «алкоголизм излечим — пьянство — нет» — шутки Довлатова запоминаешь сразу и на всю жизнь, а книги перечитываешь десятки раз. Они никогда не надоедают.

---

- [Сергей Довлатов](#)
-

# Сергей Довлатов

## Филиал

Мама говорит, что когда-то я просыпался с улыбкой на лице. Было это, надо полагать, году в сорок третьем. Представляете себе: кругом война, бомбардировщики, эвакуация, а я лежу и улыбаюсь...

Сейчас все по-другому. Вот уже лет двадцать я просыпаюсь с отвратительной гримасой на запущенной физиономии.

Напротив моего окна светящаяся вывеска — «Колониальный банк». Неоновые буквы вздрагивают и расплываются. Светает.

Хозяйка ланчонета миссис Боно с грохотом поднимает железную решетку.

Из мрака выплывает наш арабский пуфик, детские качели, шаткое трюмо... Бонжур, мадемуазель Трюмо! Привет, сеньор Качелли! Здравствуйте, геноссе Пуфф!

Мне пора. Я — радиожурналист. Точнее — анкермен, ведущий. Мы вещаем на Россию. Радиостанция «Третья волна». Программа «События и люди». Наша контора расположена в центре Манхэттена.

В России ускорение и перестройка. Там печатают Набокова и Ходасевича. Там открывают частные кафе. Там выступает рок-группа «Динозавры». Однако нас продолжают глушить. В том числе и мой не очень звонкий баритон. Говорят, на это расходуются большие деньги.

У меня есть идея — глушить нас с помощью все тех же «Динозавров». Как говорится, волки сыты, и овцы целы.

Я спешу. Солдатский завтрак: чашка кофе, «Голуаз» без фильтра. Плюс заголовки утренних газет:

«Еще один заложник... Обстреляли базу террористов... Тим О'Коннор добивается переизбрания в Сенат...»

Впрочем, нас это волнует мало. Наша тема — Россия и ее будущее. С прошлым все ясно. С настоящим — тем более: живем в эпоху динозавров. А вот насчет будущего есть разные мнения. Многие даже считают, что будущее наше, как у раков, — позади.

Час в нью-йоркском сабвее. Ежедневная психологическая гимнастика.

Школа выдержки, юмора, демократии и гуманизма. Что-то вроде Ноева ковчега.

Здесь самые толстозадые в мире полицейские. Самые безликие менеджеры и клерки. Самые темпераментные глухонемые. Самые шумные подростки. Самые вежливые бандиты и грабители.

Здесь вас могут ограбить. Однако дверью перед вашей физиономией не хлопнут. А это, я считаю, главное.

Радио «Третья волна» помещается на углу Сорок девятой и Лексингтон. Мы занимаем целый этаж гигантского небоскреба «Корвет». Под нами — холл, кафе, табачный магазин, фотолаборатория. Здесь всегда прогуливаются двое охранников, белый и черный. С белым я здороваюсь как равный, а перед черным немного заискиваю. Видно, я демократ.

На радио я сотрудничаю уже десять лет. В первые же дни начальник Барри Тарасевич объяснил мне:

— Я не говорю вам — что писать. Я только скажу вам — чего мы писать категорически не должны. Мы не должны писать, что религиозное возрождение с каждым годом ширится. Что социалистическая экономика переживает острый кризис. И так далее. Все это мы писали сорок лет. За это время у нас сменилось четырнадцать главных редакторов. А социалистическая экономика все еще жива.

— Но она действительно переживает кризис.

— Значит, кризис — явление стабильное. Упадок вообще стабильнее прогресса.

— Учту.

Барри Тарасевич продолжал:

— Не пишите, что Москва иступленно бряцает оружием. Что кремлевские геронтократы держат склеротический палец...

Я перебил его:

— На спусковом крючке войны?

— Откуда вы знаете?

— Я десять лет писал это в советских газетах.

— О кремлевских геронтократах?

— Нет, о ястребах из Пентагона.

Иногда меня посещают такие фантазии. Закончилась война. Америка капитулировала. Русские пришли в Нью-Йорк. Открыли здесь свою комендатуру.

Пришлось им наконец решать, что делать с эмигрантами. С учеными,

писателями, журналистами, которые занимались антисоветской деятельностью.

Вызвал нас комендант и говорит:

— Вы, наверное, ожидаете смертной казни? И вы ее действительно заслуживаете. Лично я собственными руками шлепнул бы вас у первого забора. Но это слишком дорогое удовольствие. Не могу я себе этого позволить! Кого я посажу на ваше место? Где я возьму других таких отчаянных прохвостов? Воспитывать их заново — мы не располагаем такими средствами. Это потребует слишком много времени и денег... Поэтому слушайте! Смирно, мать вашу за ногу! Ты, Куроедов, был советским философом. Затем стал антисоветским философом. Теперь опять будешь советским философом. Понял?

— Слушаюсь! — отвечает Куроедов.

— Ты, Левин, был советским писателем. Затем стал антисоветским писателем. Теперь опять будешь советским писателем. Ясно?

— Слушаюсь! — отвечает Левин.

— Ты, Далматов, был советским журналистом. Затем стал антисоветским журналистом. Теперь опять будешь советским журналистом. Не возражаешь?

— Слушаюсь! — отвечает Далматов.

— А сейчас, — говорит, — вон отсюда! И помните, что завтра на работу!

Радио «Третья волна» — это четырнадцать кабинетов, два общих зала, пять студий, библиотека и лаборатория. Плюс коридор, отдел доставки, техническая мастерская и хранилище радиоаппаратуры.

Кабинеты предназначены для штатных сотрудников. Общие залы, разделенные перегородками, для внештатных. Здесь же работают секретари и машинистки. В особых нишах — телетайп, селектор и копировальное устройство.

Есть специальная комната для вахтера.

В Союзе о нашей радиостанции пишут брошюры и книги. Десяток таких изданий есть в редакционной библиотеке:

«Паутина лжи», «Технология ненависти», «Мастера дезинформации», «Под сенью ФБР», «Там, за железной дверью». И так далее.

Кстати, дверь у нас стеклянная. Выходит на лестничную площадку. У двери сидит мисс Филлипс и вяжет.

В брошюрах нашу радиостанцию именуют зловещим, тайным

учреждением. Чем-то вроде неприступной крепости. Расположены мы якобы в подземном бункере. Охраняемся чуть ли не баллистическими ракетами.

В действительности нас охраняет мисс Филлипс. Если появляется незнакомый человек, мисс Филлипс спрашивает:

— Чем я могу вам помочь?

Как будто дело происходит в ресторане.

Если же незнакомый человек уверенно проходит мимо, охранница восклицает:

— Добро пожаловать!..

Сюда можно приводить друзей и родственников. Можно приходить с детьми. Можно назначать тут деловые и любовные свидания.

Уверен, что сюда нетрудно пронести бомбу, мину или ящик динамита. Документов здесь не спрашивают. Не знаю, есть ли какие-то документы у штатных сотрудников. У меня есть только ключ от редакционной уборной.

На радио около пятидесяти штатных сотрудников. Среди них имеются дворяне, евреи, бывшие власовцы. Есть шестеро невозвращенцев — моряков и туристов. Есть американцы русского и местного происхождения. Есть интеллигентный негр Руди, специалист по творчеству Ахматовой.

Попадают на радио довольно замечательные личности. Есть внучатый племянник Керенского с неожиданной фамилией Бухман. Есть отдаленный потомок государя императора — Владимир Константинович Татищев.

Как-то у нас была пьянка в честь дочери Сталина. Сидел я как раз между Татищевым и Бухманом. Строго напротив Аллилуевой.

Справа, думаю, родственник Керенского. Слева — потомок императора. Напротив — дочка Сталина. А между ними — я. Представитель народа. Того самого, который они не поделили.

Мой редактор по образованию — театровед. Работал на московском телевидении. Был тарифицирован в качестве режиссера. Поставил знаменитый многосерийный телефильм «Будущее начинается сегодня». Стал задумываться об экранизации Гоголя. Поссорился с начальством. Эмигрировал. Обосновался в Нью-Йорке. Поступил на радио.

Тарасевич быстро выучил английский. Стал домовладельцем. Увлёкся выращиванием грибов. Я не оговорился, именно грибов. Подробностей не знаю.

Первые годы все думал о театре. Пытался организовать труппу из

бывших советских актеров. И даже поставил один спектакль. Что-то вроде композиции по «Миргороду».

Премьера состоялась на Бродвее. Я был в командировке, пойти не смог. Потом спросил у одного знакомого:

— Ты был? Ну как?

— Да ничего.

— Народу было много?

— Сначала не очень. Пришел я — стало значительно больше.

Тарасевич был довольно опытным редактором и неглупым человеком. Вспоминаю, как я начинал писать для радио. Рецензировал новые книги. Назойливо демонстрировал свою эрудицию.

Я употреблял такие слова, как «философема», «экстраполяция», «релевантный». Наконец редактор вызвал меня и говорит:

— Такие передачи и глушить не обязательно. Все равно их понимают только аспиранты МГУ.

Года три у нас проработал внештатным сотрудником загадочный религиозный деятель Лемкус. Вел регулярные передачи «Как узреть Бога?». Доказывал, что это не так уж сложно.

Тарасевич, поглядывая на Лемкуса, говорил:

— Может, и хорошо, что нас глушат. Иногда это даже полезно. Советские люди от этого только выигрывают.

Лемкус обижался:

— Вы не понимаете, что такое религия. Религия для меня...

— Понимаю, — жестом останавливал его Тарасевич. — Источник заработка.

В коридоре мне попался диктор Лева Асмус. Лева обладал красивым низким баритоном удивительного тембра. Читал он свои тексты просто, выразительно и без эмоций. С той мерой равнодушия, которая отличает прирожденных дикторов.

Асмус проработал на радио восемь лет. За эти годы у него появилась довольно странная черта. Он стал фанатиком пунктуации. Он не только следовал всем знакам препинания. Он их четко произносил вслух. Вот и теперь он сказал:

— Привет, запятая, старик, многоточие. Срочно к редактору, восклицательный знак.

— Что случилось?

— Открывается симпозиум в Лос-Анджелесе, точка. Тема, двоеточие, кавычки, «Новая Россия», запятая, варианты и альтернативы. Короче

говоря, тире, очередной базар. Тебе придется ехать, многоточие.  
Этого мне только не хватало.

Должен признаться, что я не совсем журналист. Я с детства мечтал о литературе. Опубликовал на Западе четыре книги.

Жить на литературные заработки трудно. Вот я и подрабатывал на радио.

Среди эмигрантских писателей я занимаю какое-то место. Увы, далеко не первое. И, к счастью, не последнее. Я думаю, именно такое, откуда хорошо видно, что значит — настоящая литература.

Моя жена — квалифицированная наборщица, по-здешнему — тайпистка. Она набирала для издательств все мои произведения. А значит, читать мои рассказы ей уже не обязательно.

Должен признаться, что меня это слегка травмирует. Я спрашиваю:

— Ты читала мой рассказ «Судьба»?

— Конечно, ведь я же набирала его для альманаха «Перепутье».

Тогда я задаю еще один вопрос:

— А что ты сейчас набираешь?

— Булгакова для «Ардиса».

— Почему же ты не смеешься?

Моя жена удивленно приподнимает брови:

— Потому что я набираю совершенно автоматически.

Навстречу мне спешит экономический обозреватель Чобур. Девятый год он курит мои сигареты. Девятый год я слышу от него при встрече братское: «Закурим!»

Когда я достаю мои неизменные «Голуаз» и зажигалку, Чобур уточняет: «Спички есть».

Иногда я часа на два опаздываю. Завидев меня, Чобур с облегчением восклицает:

— Целый день не курил! Привык к одному сорту. Втянулся, понимаешь... Закурим!

Я спросил Чобура:

— Как дела?

— Потрясающие новости, старик! Мне дали наконец четырнадцатый грейд в тарифной сетке. Это лишние две тысячи в год! Это новая жизнь, старик! Принципиально новая жизнь!.. Закурим по такому случаю.



Напротив кабинета редактора сидит машинистка Полина. Когда-то она работала в нашей франкфуртской секции. Познакомилась с немецким актером. Вышла замуж. Переехала с мужем в Нью-Йорк. И вот этот Клаус сидит без работы.

Я говорю Полине:

— Надо бы ему поехать в Голливуд. Он может играть эсэсовцев.

— Разве Клаус похож на эсэсовца?

— Я его так и не видел. На кого он похож?

— На еврея.

— Он может играть евреев.

Полина тяжело вздыхает:

— Здесь своих евреев более чем достаточно.

Редактор Тарасевич приподнялся над столом, заваленным бумагами.

— Входи, — говорит, — присаживайся.

Я сел.

— Тебе в Калифорнии бывать приходилось?

— Трижды.

— Ну и как? Понравилось?

— Еще бы! Сказочное место. Райский уголок.

— Хочешь еще раз туда поехать?

— Нет.

— Это почему же?

— Семья, домашние заботы и так далее.

— Тем более — поезжай. Отдохнешь, развлечешься. Между прочим, в Калифорнии сейчас — апрель.

— То есть как это?

— Ну, в смысле — жарко. Я бы не задумываясь поехал — солнце, море, девушки в купальниках... Прости, отвлекся.

— Нет уж, продолжай, — говорю.

Редактор продолжал:

— Еще один вопрос. Скажи мне, что ты думаешь о будущей России? Только откровенно.

— Откровенно? Ничего.

— Своеобразный ты человек. В Калифорнию ехать не хочешь. О будущей России не задумываешься.

— Я еще с прошлым не разобрался... И вообще, что тут думать?! Поживем — увидим.

— Увидим, — согласился редактор, — если доживем.

Тарасевич давно интересовался:

— Есть у тебя какие-нибудь политические идеалы?

— Не думаю.

— А какое-нибудь самое захудалое мировоззрение?

— Мировоззрения нет.

— Что же у тебя есть?

— Миросозерцание.

— Разве это не одно и то же?

— Нет. Разница примерно такая же, как между штатным сотрудником и внештатным.

— По-моему, ты чересчур умничаешь.

— Стараюсь.

— И все-таки, как насчет идеалов? Ты же служишь на политической радиостанции. Идеалы бы тебе не помешали.

— Это необходимо?

— Для штатных работников — необходимо. Для внештатных — желательно.

— Ну, хорошо, — говорю, — тогда слушай. Я думаю, через пятьдесят лет мир будет единым. Хорошим или плохим — это уже другой вопрос. Но мир будет единым. С общим хозяйством. Без всяких политических границ. Все империи рухнут, образовав единую экономическую систему...

— Знаешь что, — сказал редактор, — лучше уж держи такие идеалы при себе. Какие-то они чересчур прогрессивные.

Год назад Тарасевич заговорил со мной о штатной работе:

— Ты знаешь, что Клейнер в больнице? Состояние критическое.

(Клейнер был одним из штатных сотрудников.)

Я спросил:

— Думаешь, надежда есть?

— Сто шансов против одного. А значит, освобождается вакансия.

— Я спрашиваю — надежда есть, что он будет жить?

— А-а... Это вряд ли. Жаль, хороший человек был. И не в пример тебе — убежденный борец с коммунизмом.

Пришлось мне объяснить редактору:

— Понимаешь, штатная работа не для меня. Чиновником я становиться не желаю. Дисциплине подчиняться не способен. Подработать

— это с удовольствием. Но главное мое занятие — литература.

— Сочувствую, — заметил Тарасевич искренне, без всякого желания обидеть.

Тарасевича два раза отвлекали. Затем он бегал в студию. Затем беседовал по телефону женским голосом: «Кого вам надо?.. Нету Тарасевича. Сама его весь день разыскиваю...» Затем чинил компьютер с помощью ножа для разрезания бумаги. И лишь потом он сформулировал мое задание:

— Едешь в Калифорнию. Участвуешь в симпозиуме «Новая Россия». Записываешь на пленку все самое интересное. Берешь интервью у самых знаменитых диссидентов. Дополняешь все это собственными размышлениями, которые можно почерпнуть у Шрагина, Турчина или Буковского. И в результате готовишь четыре передачи, каждая минут на двадцать.

— Ясно.

— Вот программа. Действуют три секции: общественно-политическая, культурная и религиозная. Намечено около двадцати заседаний. Тематика самая невероятная. От Брестского мира до Ялтинской конференции. От протопопы Аввакума до какого-нибудь идиотского Фета. Короче, Россия и ее будущее.

— Какое же это будущее — Фет, Аввакум?..

— Меня не спрашивай. Есть программа. Пожалуйста — «Эхо Ялтинской конференции. Доклад Шендеровича». Читаю дальше: «Фет — провозвестник еврокоммунизма. Сообщение Фокина». Между прочим, тут есть и о будущем. Вот, например. «Россия и завоевание космических пространств». «Экуменические центры будущей России». И так далее.

— Сориентируюсь на месте.

— Мероприятие завершится символическими выборами.

— Кого же будут выбирать?

— Я думаю, президента.

— Какого президента?

— Президента в изгнании.

— Президента — чего?

— Я думаю — будущей России. Президента и всех его однодельцев — митрополитов, старост, разных там генералиссимусов... Да что ты ко мне пристал?! Намечено серьезное общественное мероприятие. Мы должны его отобразить. Какие могут быть вопросы?! Действуй! Ты же профессионал!..

Я давно заметил: когда от человека требуют идиотизма, его всегда

называют профессионалом.

В Лос-Анджелес я прилетел рано утром. Минут десять простоял около багажного конвейера. На стоянке такси меня порадовало обилие ковбойских шляп.

Сел в машину. Долго ехал по шоссе, все любовался кипарисами. Таксист был одет в жокейскую шапочку с надписью «Янкис», клетчатую рубашку и джинсы. В зубах у него дымилась сигара. Наконец я спросил:

— Далеко еще?

(Такую фразу я способен выговорить без акцента.)

Таксист поглядел на меня в зеркало и спрашивает:

— Земляк, ты в Устьвымлаге попкой не служил? Году в шестидесятом?

— Служил. Не попкой, а контролером штрафного изолятора.

— Второй лагпункт, двенадцать километров от Иоссера?

— Допустим.

— Потрясающе! А я там свой червонец оттянул. Какая встреча, гражданин начальник!

Таксист, как выяснилось, отбыл срок за развращение несовершеннолетней. Потом женился на еврейке, эмигрировал. Купил медальон на такси.

— Жизнью своей, — говорит, — я в общем-то доволен. Работаю, женат, имею дочь.

Я зачем-то спросил:

— Несовершеннолетнюю?

— Мишелочка в четвертом классе... У меня такси, жена — бухгалтер. Зарабатываем больше тысячи в неделю. Через день по ресторанам ходим. Что хотим заказываем: сациви, бастурму, шашлык на ребрышках...

— Не похоже, — говорю, — вы тощий.

Таксист снова поглядел на меня:

— Так ведь я кушаю. Но и меня кушают...

Я подумал: вот тебе и Дальний Запад! Всюду наши люди.

К одиннадцати часам я более или менее разобрался в ситуации. Симпозиум «Новая Россия» организован Калифорнийским институтом гражданских прав. Во главе проекта стоит известный общественный деятель мистер Хиггинс. Ему удалось получить на это дело многотысячную субсидию. Приглашено не менее девяноста участников из Америки, Европы, Канады. Даже из Австралии. В том числе — русские ученые,

литераторы, священнослужители. Не говоря об американских политологах, историках, славистах.

Кроме официальных участников должны съехаться так называемые гости. То есть самодеятельные журналисты, безработные филологи, всякого рода амбициозные праздношатающиеся личности.

Задача симпозиума — «попытка футурологического моделирования гражданского, культурного и духовного облика будущей России».

Объект внимания — таинственное багровое пятно на карте. Пятно, я бы добавил, — размером с хорошую шкуру убитого медведя.

Разместили нас в гостинице «Хилтон». По одному человеку в номере. За исключением прозаика Белякова, которого неизменно сопровождает жена. Мотивируется это тем, что она должна записывать каждое его слово.

Помню, Беляков сказал литературоведу Эткинду:

— У меня от синтетики зуд по всему телу.

И Дарья Владимировна тотчас же раскрыла записную книжку.

К часу на всех этажах гостиницы «Хилтон» зазвучала славянская речь. К двум по-русски заговорила уже и местная хозобслуга. Портье, встречая очередного гостя, твердил: — Добро пожалуйста! Добро пожалуйста! Добро пожалуйста!

В три часа мистер Хиггинс провел организационное собрание. К этому времени я уже повидал десяток знакомых. Подвергся объятиям Лемкуса. Выслушал какую-то грубость от Юзовского. Дал прикурить Самсонову. Помог дотащить чемодан сионисту Гурфинкелю. Обнял старика Панаева.

Панаев вытащил карманные часы размером с десертное блюдо. Их циферблат был украшен витиеватой неразборчивой монограммой. Я взгляделся и прочитал сделанную каллиграфическими буквами надпись:

«Пора опохмелиться!!!» И три восклицательных знака.

Панаев объяснил:

— Это у меня еще с войны — подарок друга, гвардии рядового Мурашко. Уникальный был специалист по части выпивки. Поэт, художник...

— Рановато, — говорю.

Панаев усмехнулся:

— Ну и молодежь пошла.

Затем добавил:

— У меня есть граммов двести водки. Не здесь, а в Париже. За телевизор спрятана. Поверьте, я физически чувствую, как она там нагревается.

Панаев был классиком советской литературы. В сорок шестом году он написал роман «Победа». В романе не упоминалось имени Сталина. Генералиссимус так удивился, что наградил Панаева орденом.

Впоследствии Панаев говорил:

— Кровожадный Сталин наградил меня орденом. Миротворитель Хрущев выгнал из партии. Добродушный Брежнев чуть не посадил в тюрьму.

Отмечалась годовщина массовых расстрелов у Бабьего Яра. Шел неофициальный митинг. Среди его участников был орденосец Панаев. Он вышел к микрофону, начал говорить. Раздался выкрик из толпы:

— Здесь были расстреляны не только евреи.

— Да, — ответил Панаев, — верно. Но лишь евреи были расстреляны только за это. За то, что они евреи.

Мистер Хиггинс рассказал нам о задачах симпозиума. Вступительную часть завершил словами:

— Мировая история едина!

— Факт! — отозвался из своего угла загадочный религиозный деятель Лемкус.

Мистер Хиггинс слегка насторожился и добавил:

— Убежден, что Россия скоро встанет на путь демократизации и гуманизма!

— Факт! — все так же энергично реагировал Лемкус.

Мистер Хиггинс удивленно поднял брови и сказал:

— Будущая Россия видится мне процветающим свободным государством!

— Факт! — с тем же однообразием высказался Лемкус.

Наконец мистер Хиггинс внимательно оглядел его и произнес:

— Я готов уважать вашу точку зрения, мистер Лемкус. Я только прошу вас изложить ее более обстоятельно. Ведь брань еще не аргумент...

Усилиями Самсонова, хорошо владеющего английским, недоразумение было ликвидировано.

Мистер Хиггинс дал нам всевозможные инструкции. Коснулся быта: транспорт, стол, гостиничные услуги. Затем поинтересовался, есть ли вопросы.

— Есть! — закричал Панаев. — Когда мне деньги вернут?

Самсонов перевел.

— Какие деньги? — удивился Хиггинс.

— Деньги, которые я истратил на такси.

Хиггинс задумался, потом мягко напомнил:

— Лично я доставил вас из аэропорта на своей машине. Вы что-то путаете.

— Нет, это вы что-то путаете.

— Хорошо, — уступил мистер Хиггинс, — сколько долларов вы израсходовали?

Панаев оживился:

— Восемьдесят. И не долларов, а франков. Машину-то я брал в Париже.

Мистер Хиггинс оглядел собравшихся:

— Вопросов больше нет?

Тут поднял руку чешский диссидент Леон Матейка:

— Почему я не вижу Рувима Ковригина?

Все зашумели:

— Ковригин, Ковригин!

Бывший прокурор Гуляев воскликнул:

— Господа! Без Ковригина симпозиум теряет репрезентативность!

Мистер Хиггинс пояснил:

— Все мы уважаем поэта Ковригина. Он был гостем всех предыдущих симпозиумов и конференций. Наконец, он мой друг. И все-таки мы его не пригласили. Дело в том, что наши средства ограничены. А значит, ограничено число наших дорогих гостей. За каждый номер в отеле мы платим больше ста долларов.

— Идея! — закричал чешский диссидент Матейка. — Слушайте. Я перебираюсь к соседу. В освободившемся номере поселяется Ковригин.

Все зашумели:

— Правильно! Правильно! Матейка перебирается к Далматову. Рувимчик занимает комнату Матейки.

Матейка сказал:

— Я готов принести эту жертву. Я согласен переехать к Далматову.

.....

О том, чтобы заручиться моим согласием, не было и речи.

Мистер Хиггинс сказал:

— Решено. Я немедленно позвоню Рувиму Ковригину. Кстати, где он сейчас? В Чикаго? В Нью-Йорке? Или, может быть, на вилле Ростроповича?

— Я здесь, — сказал Рувим Ковригин, нехотя поднимаясь.

Все опять зашумели:

— Ковригин! Ковригин!

— Я тут проездом, — сказал Ковригин, — живу у одного знакомого. Гостиница мне ни к чему.

Матейка воскликнул:

— Ура! Мне не придется жить с Далматовым!

Я тоже вздохнул с облегчением.

Ковригин неожиданно возвысил голос:

— Плевать я хотел на ваш симпозиум. Все собравшиеся здесь — банкроты. Западное общество морально разложилось. Эмиграция — тем более. Значительные события могут произойти только в России!

Хиггинс миролюбиво заметил:

— Да ведь это же и есть тема нашего симпозиума.

Вечером нам показывали достопримечательности. Сам я ко всему этому равнодушен. Особенно к музеям. Меня всегда угнетало противоестественное скопление редкостей. Глупо держать в помещении больше одной картины Рембрандта...

Сначала нам показывали каньон, что-то вроде ущелья. Увязавшийся с нами Ковригин поглядел и говорит:

— Под Мелитополем таких каньонов до хрена!

Мы поехали дальше. Осмотрели сельскохозяйственную ферму: жилые постройки, зернохранилище, конюшню.

Ковригин недовольно сказал:

— Наши лошади в три раза больше!

— Это пони, — сказал мистер Хиггинс.

— Я им не завидую.

— Естественно, — заметил Хиггинс, — это могло бы показаться странным.

Затем мы побывали в форте Ромпер. Ознакомились с какой-то исторической мортирой. Ковригин заглянул в ее холодный ствол и отчеканил:

— То ли дело наша зенитная артиллерия!

Более всего нас поразили кофейный автомат. Мы ехали по направлению



к Санта-Барбаре. Горизонт был чистый и просторный. Вдоль шоссе тянулись пронизанные светом заросли боярышника. Казалось — до ближайшего жилья десятки, сотни миль.

И вдруг мы увидели будку с надписью «Кофе». Автобус затормозил. Мы вышли на дорогу. Прозаик Беляков шагнул вперед. Внимательно прочитал инструкцию. Достал из кармана монету. Опустил ее в щель.

Что-то щелкнуло, и в маленькой нише утвердился бумажный стаканчик.

— Дарья! — закричал Беляков. — Стаканчик!

И бросил в щель еще одну монету. Из неведомого отверстия высыпалась горсть сахара.

— Дарья! — воскликнул Беляков. — Сахар!

И опустил третью монету. Стакан наполнился горячим кофе.

— Дарья! — не унимался Беляков. — Кофе!

Дарья Владимировна с любовью посмотрела на мужа. Затем с материнской нежностью в голосе произнесла:

— Ты не в Мордовии, чучело!

Хорошо человеку семейному оказаться в гостинице. Да еще в незнакомом американском городе. Летом.

Телефон безмолвствует. Холодный душ в твоём распоряжении. Обязанностей никаких.

Можно курить, роняя пепел на одеяло. Можно не запирается в уборной. Можно ходить по ковру босиком.

Рестораны и бары открыты. Деньги есть. За каждым поворотом тебя ожидает приятная встреча.

Можно послушать новости. Можно спуститься в бар. Можно узнать телефон старой приятельницы Регины Кошиц, обосновавшейся в Лос-Анджелесе.

Что вместо этого проделывает русский литератор? Естественно, звонит домой, в Нью-Йорк. И сразу же на его плечи обрушиваются всяческие заботы. У матери бронхит. Ребенок кашляет. Компьютерная наборная машина требует ремонта. А я, значит, участвую в симпозиуме «Новая Россия»... До чего несерьезно складывается жизнь!

Я лег и задумался — что происходит?! Какие-то нелепые, сомнительные обстоятельства. Бессмысленно просторный номер. За окном через все небо тянется реклама авиакомпании «Перл». У изголовья моей постели Библия на чужом языке. В кармане пиджака — блокнот с

единственной малопонятной записью: «Юмор — инверсия разума». Что это значит? Что все это значит? Кто я и откуда? Ради чего здесь нахожусь?

Мне сорок пять лет. Все нормальные люди давно застрелились или хотя бы спились. А я даже курить и то чуть не бросил. Хорошо, один поэт сказал мне:

— Если утром не закурить, тогда и просыпаться глупо...

Зазвонил телефон. Я поднял трубку.

— Вы заказывали четыре порции бренди?

— Да, — солгал я почти без колебаний.

— Несу...

Вот и хорошо, думаю. Вот и замечательно. В любой ситуации необходима какая-то доля абсурда.

Симпозиум открылся ровно в девять. Причем одновременно в трех местах. В Дановер-Холле заседала общественно-политическая секция. В библиотеке церкви Сент-Джонс обсуждалась религиозная проблематика. В галерее Мориса Лурье шел разговор на культурные темы. Каждая секция должна была провести шесть заседаний.

Накануне я получил копии всех основных докладов. Записал короткое интервью с мистером Хиггинсом. Оставалось побеседовать со знаменитостями. Ну, и кое-что послушать — так, для общего развития.

В принципе я мог улететь хоть сегодня.

— Глупо, — сказал мне загадочный религиозный деятель Лемкус, — а как же банкет?!

Хиггинс сказал в микрофон единственную фразу. Точнее, начало первой фразы. А именно:

— Дис из э грейт привиледж фор ми...

Остальное я не записывал. Дальше я перейду на русский язык. И прекрасно скажу за него все, что требуется.

Утром я был в Дановер-Холле, где заседала общественно-политическая секция. Записал на пленку так называемые шумовые эффекты. То есть аплодисменты, кашель, смех, шуршание бумаги, выкрики из зала.

Я даже молчание записал на пленку. Причем варианта три или четыре. Благоговейное молчание. Молчание с оттенком недовольства. Молчание, нарушенное возгласом: «Посланник КГБ!» Молчание плюс гулкие шаги докладчика, идущего к трибуне. И так далее.

Допустим, я веду свой репортаж. И говорю, что было решено почтить кого-нибудь вставанием. К примеру, Григоренко или, скажем, Амальрика. А дальше я в сценарии указываю: «Запись. Тишина номер один». Ну и тому подобное.

Уже лет десять разукрашиваю я такими арабесками свои еженедельные программы. За эти годы у меня образовалась колоссальнейшая фонотека. Там есть все что угодно. От жужжания бормашины до криков говорящего попугая. От звука полицейской сирены до нетрезвых рыданий художника Елисеенко.

Когда-то я даже записал скрип протеза. Это была радиопередача о мужественном хореографе из Черновиц, который сохранил на Западе верность любимой профессии.

Более того, в моей фонотеке есть даже звук поцелуя. Это исторический, вернее — доисторический поцелуй. Поскольку целуются — кто бы вы думали? — Максимов и Синявский. Запись была осуществлена в тысяча девятьсот семьдесят шестом году. За некоторое время до исторического разрыва почвенников с либералами.

На симпозиуме оба течения были представлены равным количеством единомышленников. В первый же день они категорически размежевались.

Причем даже внешне они были совершенно разные. Почвенники щеголяли в двубортных костюмах, синтетических галстуках и ботинках на литой резине. Либералы были преимущественно в джинсах, свитерах и замшевых куртках.

Почвенники добросовестно сидели в аудитории. Либералы в основном бродили по коридорам.

Почвенники испытывали взаимное отвращение, но действовали сообща. Либералы были связаны взаимным расположением, но гуляли поодиночке.

Почвенники ждали Синявского, чтобы дезавуировать его в глазах американцев. Либералы поджидали Максимова и, в общем, с такой же целью.

Почвенники употребляли выражения с былинным оттенком. Такие, допустим, как «паче чаяния» или «ничтоже сумняшеся». И еще: «с энергией, достойной лучшего применения». А также: «Солженицын вас за это не похвалит». Либералы же использовали современные формулировки типа: «За такие вещи бьют по физиономии!» Или: «Поцелуйтесь с Риббентропом!» А также: «Сахаров вам этого не простит».

Почвенники запасали спиртное на вечер. Причем держали его не в холодильниках, а между оконными рамами. Среди либералов было много выпивших уже на первом заседании.

Почвенники не владели английским и заявляли об этом с гордостью. Либералы тоже не владели английским и стыдились этого.

Вместе с тем между почвенниками и либералами было немало общего. В Союзе их называли махровыми шовинистами и безродными космополитами. И они прекрасно ладили между собой.

В тюремных камерах они жили дружно. На воле им стало тесновато.

И все-таки они похожи. Как почвенники, так и либералы считают американцев глупыми, наивными, беспечными детьми. Детями, которых необходимо воспитывать. Как почвенники, так и либералы высказываются громко. Главное для них — скомпрометировать оппонента как личность. Как почвенники, так и либералы с болью думают о родине. Но есть одна существенная разница. Почвенники уверены, что Россия еще заявит о себе. Либералы находят, что, к величайшему сожалению, уже заявила.

Религиозные семинары проходили в церковной библиотеке. Там собирались православные, иудаисты, мусульмане, католики. Каждой из групп было выделено отдельное помещение.

В перерыве среди участников начали циркулировать документы. Иудаисты собирали подписи в защиту Анатолия Щаранского. Православные добивались освобождения Глеба Якунина. Сыны ислама хлопотали за Мустафу Джемилева. Католики пытались спасти Иозаса Болеслаускаса.

С подписями возникли неожиданные трудности. Иудаисты отказались защищать православного Якунина. Православные не захотели добиваться освобождения еврея Щаранского. Мусульмане заявили, что у них собственных проблем хватает. А католики вообще перешли на литовский язык.

Тут в кулуарах симпозиума появились Литвинский и Шагин. Оба были в прошлом знаменитыми диссидентами. Они довольно громко разговаривали и курили. Казалось, что они слегка навеселе.

— В чем дело? — спросили Литвинский и Шагин.

Им объяснили, в чем дело.

— Ясно, — проговорили Литвинский и Шагин, — тащите сюда ваши документы.

Сначала они подписали бумагу в защиту Щаранского. Потом —

меморандум в защиту Якунина. Потом — обращение в защиту Джемилева. И наконец — петицию в защиту Болеслаускаса.

К Литвинскому и Шагину приблизился священник Аристарх Филадельфийский. Он сказал:

— Вы проявили истинное человеколюбие! Как вы достигли такого нравственного совершенства?! Кто вы? Православные, иудаисты, мусульмане, католики?

— А мы неверующие, — сказали Литвинский и Шагин.

— Как же вы здесь оказались?

— Да, в общем-то, случайно. Просто так, гуляли и зашли...

За обедом вспыхнула ссора. Редактор ежемесячного журнала «Комплимент» Большаков оскорбил сиониста Гурфинкеля. Спор, естественно, зашел о новой России. Точнее говоря, об ускорении и перестройке.

Большаков говорил:

— Россия на перепутье.

Гурфинкель перебил его:

— Одно из двух — если там перестройка, значит нет ускорения. А если там ускорение, значит нет перестройки.

Тогда Большаков закричал:

— Не трожь Россию, инородец!

Все зашумели. В наступившей после этого тишине Гурфинкель спросил:

— Знаете ли вы, мистер Большаков, как погиб Терпандер?

— Какой еще Терпандер?

— Греческий певец Терпандер, который жил в шестом столетии до нашей эры.

— Ну и как же он погиб? — вдруг заинтересовался Большаков.

Гурфинкель помедлил и начал:

— Вот слушайте. У Терпандера была четырехструнная лира. И он, видите ли, решил ее усовершенствовать. Добавить к ней еще одну струну. И повесить, таким образом, диапазон своей лиры на целую квинту. Вы знаете, что такое квинта?

— Дальше! — с раздражением крикнул Большаков.

— И вот он натянул эту пятую струну. И отправился выступать перед начальством. И заиграл на этой лире с повышенным, заметьте, диапазоном. И затянул какую-то дионисийскую песню. А рядом оказался некультурный

воин Медонт. И подобрал этот воин с земли недозрелую фигу. И кинул ее в певца Терпандера. И угодил ему прямо в рот. И через минуту греческий певец Терпандер скончался от удушья. Подчеркиваю — в невероятных муках.

— Зачем вы мне это рассказываете? — изумленно спросил Большаков.

Гурфинкель вновь дождался полной тишины и объяснил:

— Хотите знать, в чем тут мораль? Мораль проста. А именно: не повышайте тона, мистер Большаков. Вы слышите? Не повышайте тона! Главное — не повышайте тона, я вас умоляю. Не повторите ошибку Терпандера.

Затем я отправился в галерею Мориса Лурье. Там заседала культурная секция. Должен был выступать Рувим Ковригин. Помнится, Ковригин не хотел участвовать в симпозиуме. Однако передумал.

Еще в дверях меня предупредили:

— Главное — не обижайте Ковригина.

— Почему же я должен его обижать?

— Вы можете разгорячиться и обидеть Ковригина. Не делайте этого.

— Почему же я должен разгорячиться?

— Потому что Ковригин сам вас обидит. А вы, не дай Господь, разгорячитесь и обидите его. Так вот, не делайте этого.

— Почему же Ковригин должен меня обидеть?

— Потому что Ковригин всех обижает. Вы не исключение. В общем, не реагируйте, Ковригин страшно ранимый и болезненно чуткий.

— Может, я тоже страшно ранимый?

— Ковригин — особенно. Не обижайте его. Даже если Ковригин покроет вас матом. Это у него от застенчивости...

Началось заседание. Слово взял Ковригин. И сразу же оскорбил всех западных славистов. Он сказал:

— Я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей...

Затем Ковригин оскорбил целый город. Он сказал:

— Иосиф Бродский хоть и ленинградец, но талантливый поэт...

И наконец Ковригин оскорбил меня. Он сказал:

— Среди нас присутствуют беспринципные журналисты. Кто там поближе, выведите этого господина. Иначе я сам за него возьмусь!

Я сказал в ответ:

— Рискни.

На меня замахали руками:

— Не реагируйте! Не обижайте Ковригина! Сидите тихо! А еще лучше — выйдите из зала...

Один Панаев заступился:

— Рувим должен принести извинения. Только пусть извинится как следует. А то я знаю Руню. Руня извиняется следующим образом: «Прости, мой дорогой, но все же ты — говно!»

Потом состоялась дискуссия. Каждому участнику было предоставлено семь минут. Наступила очередь Ковригина. Свою речь он посвятил творчеству Эдуарда Лимонова. Семь минут Ковригин обвинял Лимонова в хулиганстве, порнографии и забвении русских гуманистических традиций. Наконец ему сказали:

— Время истекло.

— Я еще не закончил.

Тут вмешался аморальный Лимонов:

— В постели можете долго не кончать, Рувим Исаевич. А тут извольте следовать регламенту.

Все закричали:

— Не обижайте Ковригина! Он такой ранимый!

— Время истекло, — повторил модератор.

Ковригин не уходил.

Тогда Лимонов обратился к модератору:

— Мне тоже полагается время?

— Естественно. Семь минут.

— Могу я предоставить это время Рувиму Ковригину?

— Это ваше право.

И Ковригин еще семь минут проклинал Лимонова. Причем теперь уже за его счет.

К шести я был в гостинице. Переоделся. Выпил чаю, который заказал по телефону.

Перспективы были неопределенные. Панаев звал к своим однополчанам в Глемп. Официально всех нас пригласили к заместительнице мэра. Были даже разговоры о поездке в Голливуд.

Можно было отправиться в ресторан с тем же Лимоновым. А еще лучше — одному. В расчете на какое-то сентиментальное происшествие. На какую-то романтическую случайность...

Допустим, захожу. Напротив двери веселится голливудская компания.

Завидев меня, полуодетая Джулия Эндрюс восклицает: — Шапки долой, господа! Перед вами — гений!..

Есть и другой вариант. Иду по улице. Хулиганы избивают старика. Припомнив уроки тренера Гафиатулина, я делаю шаг вперед. Хулиганы в нокдауне. Старик произносит: — Моя фамилия Гетти. Чем я могу отблагодарить вас? Что вы думаете о парочке нефтяных скважин?..

И так далее. А ведь я, формально рассуждая, интеллектуал. Так почему же мои грезы столь убоги? Чего я жду каждый раз, оказываясь в незнакомом месте?

Хотя, если разобраться, я ведь пересек континент. Оставил позади четыре тысячи километров. Неужели все это лишь для того, чтобы поругаться с Ковригиным?

Глупо чего-то ждать. Однако еще глупее валяться на диване с последней книжкой Армалинского.

Вдруг я заметил, что у меня трясутся руки. Причем не дрожат, а именно трясутся. До звона чайной ложечки в стакане.

Что со мной каждый раз происходит в незнакомом городе?

И тут в дверь постучали.

— Войдите, — говорю, — кам ин!

Обратным зрением я видел каждую мелочь. Отметил и запомнил десятки красноречивых симптомов будущего происшествия. Долгий неубывающий рев амбулаторной сирены. Прерывистое гудение холодильника. Бледно-голубое лишнее «А» в светящейся рекламе «Перл» («PeArl»). Надувшиеся в безветренный день оконные занавески. Станный запах болотной тины, напоминающий о пионерском детстве в Юкках. Горький вкус не по-американски добросовестно заваренного чая. Все предвещало что-то неожиданное.

Я только не знаю, как они взаимосвязаны — происшествие и беспокойство. То ли беспокойство — симптом происшествия? То ли само происшествие есть результат беспокойства?..

В общем, я ждал, что произойдет какая-то неожиданность. Недаром я испытывал чувство страха. Недаром у меня было ощущение тревоги. Не случайно я остался в гостинице. Явно чего-то ждал. И вот дождался...

На пороге стояла моя жена. Вернее, бывшая жена. И даже не жена, а — как бы лучше выразиться — первая любовь.

Короче, я увидел Таську в невообразимом желтом одеянии.

Но это — длинная история...



В августе шестидесятого года я поступил на филфак. У меня не было тогда влечения к литературе. Однако точные науки представлялись мне еще более чуждыми. Среди «неточных», я уверен, первое место занимает филология. Так что я превратился в гуманитария. Тем более что мне как спортсмену полагались определенные льготы.

В университете я быстро ощутил себя чужим. Студенты без конца распространялись о вещах, не интересовавших меня. Любой из них мог разгорячиться безо всякого повода. Помню, как Лева Баранов, вялый юноша из Тихвина, ударил ногой аспиранта Рыленко, осмелившегося заявить, что Достоевский сродни экспрессионизму.

К преподавателям я относился с любопытством, но без должного уважения. Вряд ли кто-то из них меня запомнил. Хотя однажды латинист Бобович спросил перед началом занятий:

— А где Далматов?

— На соревнованиях, — ответил мой друг Эля Баскин. (За час до этого мы с ним расстались возле пивного бара.)

— Какой же вид спорта предпочел этот довольно бездарный молодой человек?

— Далматов — известный боксер.

— Вот как, — задумчиво протянул Бобович, — странно. Очень странно... Ведь он совершенно не знает латыни.

Короче, я пропускал одну лекцию за другой. Лучше всего, таким образом, мне запомнились университетские коридоры. Я помню тесноту около доски с расписаниями. Запах тающего снега в раздевалке. Факультетскую стенгазету напротив двери. Следы бесчисленных кнопок на ее загибающихся уголках. Отполированные до блеска скамьи возле фотолаборатории.

Примерно к двенадцати здесь собираются окрестные лентяи. Мы говорим о литературе и разглядываем пробегающих мимо девиц. У нас есть свобода и молодость. А свобода плюс молодость вроде бы и называется любовью.

Помню ожидание любви. Буквально каждую секунду я чего-то жду. Как в аэропорту, где ты поджидаешь незнакомого человека. Держишься на

виду, чтобы он мог подойти и сказать: «Это я». Я знал, что скоро и у меня будет девушка в кожаной юбке...

Вот приближается Гага Смирнов, лет через десять женившийся на француженке. Вот Миша Захаров, который сейчас чуть ли не директор издательства. Арик Батист, тогда еще писавший романтические стихи. Лева Балиев, не помышлявший в те годы о дипломатической карьере. Будущий взяточник, заключенный и деклассированная личность — Клейн. Женя Рябов с красивой девушкой и неизменной магниевой вспышкой. (Я совершенно убежден, что можно покорить любую женщину, без конца фотографируя ее.)

Я понимаю, что Рябов здесь лишний. Он чересчур суетлив для победителя. А девушка слишком высокая. Ей не должны импонировать люди, рядом с которыми это бросается в глаза. Она высокая, стройная. Голубая импортная кофточка открывает шею. Тени лежат возле хрупких ключиц.

Я протянул руку, назвал свое имя. Она сказала: «Тася».

И тотчас же выстрелила знаменитая ленинградская пушка. Как будто прозвучал невидимый восклицательный знак. Или заработал таинственный хронометр.

Так началась моя гибель.

Ресторан «Дельфин» чуть заметно покачивался у гранитной стены. Видны были клетчатые занавески на окнах.

Мы свернули к набережной. Прошли дощатым трапом над колеблющейся водой. Гулко ступая, приблизились к дверям.

Швейцар с унылым видом распахнул их. Появление таких, как мы, не сулило ему заметных барышей.

Зал был просторный. Линолеум слегка уходил из-под ног. В углу темнела эстрада. Там в беспорядке стояли пюпитры, украшенные лирами из жести.

Рояль был повернут к стене. Контрабас лежал на боку. Он был похож на гигантскую выдернутую с корнем редьку.

Мы заказали пиво с бутербродами. Вели привычный разговор: Хемингуэй, Гиллеспи, Фрейд, Антониони, Сталин...

К этому времени я уже был похож на молодого филолога. То есть научился критиковать Достоевского, восхищаясь при этом Шарковым и Гольцем. Что выражало особую степень моей интеллектуальной придиристичности. (Кстати, Шарков год назад выпустил детскую повесть о

тараканах. Гольц, если не ошибаюсь, сочиняет цирковые репризы.)

В известной мере я претендовал на роль талантливый самородок. Моим воображаемым прототипом был грубоватый силач, который руководствуется интуицией. Кроме того, все знали о моих успехах на ринге. Это существенно дополняло мой образ.

Я ждал, когда Тася обратит на меня внимание. И дождался.

Я носил тогда кеды и гимнастические брюки со штрипками. На бесформенном пиджаке выделялись карманы. Год спустя я уже выглядел по-другому. А сейчас в мой адрес посыпались колкости и насмешки. Тася спросила:

— Кто шьет вам брюки — Малкин или Леонтович?

(Она назвала имена прогрессивных ленинградских закройщиков. С Леонтовичем я впоследствии познакомился. Это был неопрятный еврей в галифе.)

Я молчал. Мои друзья посмеивались. Зато когда Гага Смирнов опрокинул фужер на штаны, я прямо-таки расхохотался. Должно быть, Тасино присутствие слегка нас всех ожесточило.

Вдруг она сказала мне:

— Хотите знать, на кого вы похожи? На разбитую параличом гориллу, которую держат в зоопарке из жалости.

Это было слишком. Кажется, я покраснел. Затем машинально пригладил волосы.

— Голову не чешут, а моют, — заявила Тася под общий смех.

Тогда я еще не догадывался, что колкости могут быть обнадеживающими знаками внимания. А может, догадывался, но скрывал. Видимо, мне импонировала роль застенчивого супермена, которого легко обидеть.

Я направился к выходу. Следует уходить раньше, чем тебя к этому недвусмысленно вынуждают.

Я вышел на улицу. Вскоре застучали каблуки по доскам трапа.

— Стойте, невозможный вы человек!

Я остановился. Не убегать же мне было от нее, в самом-то деле.

Мы шли вдоль каменного парапета. Где-то здесь я буду впоследствии делать стойку на руках. А Тася будет равнодушно повторять:

— Сумасшествие — это не аргумент...

Она спросила:

— Правда, что вы боксер?

Я вяло кивнул. Я так гордился своими успехами в боксе, что даже преуменьшал их.

— Вы любите драться?

— Бокс, — говорю, — это, в общем-то, своего рода искусство...

Тут же я замолчал. И даже пожалел, что согласился говорить на эту тему. Мне казалось, что боксер должен рассказывать о своем увлечении неохотно.

Тася вдруг замедлила шаги:

— Забыла сумку...

И мы вернулись. На людях мне было как-то спокойнее. Тем более что из ресторана долетали звуки музыки. В шуме и грохоте я буду чувствовать себя лучше.

Мы подошли к столику, за которым оставались наши друзья. Зажглись светильники в форме морских раковин. Снова заиграл оркестр. Перед каждым соло трубач вытирал ладони о джемпер.

Теперь все было по-другому. Мы с девушкой как будто отделились. Стали похожи на заговорщиков. Мы были теперь как два земляка среди иностранцев. Наши друзья почему-то беседовали вполголоса.

Затем мы расплатились и ушли. Звуки трубы преследовали нас до самого моста. Я держал Тасю под руку. До сих пор вспоминается ощущение гладкой импортной ткани.

Из-за угла, качнувшись, выехал трамвай. Все побежали к остановке.

— Быстрее! — закричал Женя Рябов.

Но девушка помахала всем рукой. И мы почему-то направились в зоопарк.

— Запомните, — сказала Тася, — это большая честь для мужчины, когда его называют грубым животным.

В зоопарке было сыро, чувствовалась осень. Мы взяли билеты и подошли к указателю. Рядом торговали пирожками и мороженым. Трава была усеяна конфетными обертками. Из глубины парка доносились звуки карусели.

Мы шли вдоль клеток. Долго разглядывали волков, таких невзрачных и маленьких. Любовались куницей, размеренно бегавшей вдоль тонких железных прутьев. Окликнули ламу, так жеманно приседавшую на ходу.

Кормили медведей, беззвучно ступавших на известковые плиты.

Верблюд был похож на моего школьного учителя химии. Цесарки разноцветным оперением напоминали деревенских старух. Уссурийский тигр был приукрашенной копией Сталина. Орангутанг выглядел стареющим актером, за плечами у которого бурная жизнь.

В этом и есть гениальность Уолта Диснея. Он первым заметил сходство между людьми и животными.

— Павлин! — воскликнула Тася.

Загадочная птица медленно и осторожно ступала тонкими лапами. Хвост ее расстился, как усеянное звездами небо.

Мы остановились перед стеклянным ящиком, в котором шевелился аллигатор. Хищный зверь казался маленьким и безобидным, словно огурец в рассоле. Его хотелось показать дерматологу.

В столовой зоопарка было тесно. На покрытых линолеумом столах виднелись круги от мокрой тряпки. Мы постояли в очереди и сели у дверей. Я подумал — у меня теперь есть девушка. Я буду звонить ей по телефону. Буду класть ей руку на плечо. Мы будем раньше всех уходить из любой компании.

Мы направились к площадке, окруженной голубым забором. Две маленькие лошади возили по кругу низкую тележку. В ней сидели улыбающиеся дети.

Тася спросила, можно ли ей прокатиться. Служащий в брезентовом плаще кивнул головой:

— Будете присматривать за малышами.

— Я передумала, — сказала Тася, — мне лошадь жалко.

— У лошади, — говорю, — четыре ноги.

— Какой вы наблюдательный...

Она стояла рядом. У нее было взволнованное детское лицо. Как будто она ехала в тележке и присматривала за самыми маленькими.

А потом мы встретили слона. Он был похож на громадную копну сена. Площадка, где слон вяло топтался, была окружена рядами железных шипов. Между ними валялись сушки, леденцы и куски белого хлеба. Слон деликатно принимал еду и, качнув хоботом, отправлял ее в рот. Кожа у него была серая и морщинистая.

— Ужасно быть таким громадным, — вдруг сказала Тася.

Я ответил:

— Ничего страшного.

Мы погуляли еще немного. В траве желтели обрывки использованных билетов. В лужах плавали щепки от мороженого. Солнце, остывая, исчезло за деревьями. Мы подошли к остановке и сели в трамвай. Быстрая музыка догоняла его на поворотах.

Затем мы снова шли по набережной. В сгущавшихся сумерках река была почти невидима. Но близость ее ощущалась.

Неоновые огни делали лица прохожих строгими, чистыми и таинственными.

Я проводил Тасю до ворот. Хотел попрощаться. Вдруг оказалось, что я иду с ней рядом по двору.

В подъезде было тихо и сыро. Сбоку мерцали фанерные ящики для писем. За шахтой лифта стояла детская коляска на высоких рессорах. Блестела изразцовая печь.

За мутными стеклами видна была гранитная набережная. На другом берегу возвышался силуэт подъемного крана. Он был похож на жирафа из зоопарка.

— Обратите внимание... — начал я.

Но вышло так, что мы поцеловались. Где-то наверху сразу хлопнула дверь, послышались шаги.

— Милый, — сказала Тася.

А потом, явно кого-то изображая:

— Ты выбрал плохой отель.

Затем она повернулась и ушла.

Я надеялся, что она вернется. Посмотрел вверх. Я видел угол черной юбки и край голубого белья. Я сказал «Тася», но голубой лоскут исчез, дверь захлопнулась.

На улице стало пасмурно. Из-за поворота налетал холодный ветер. В глубине двора кто-то чинил мотоцикл. На куске фанеры блестели хромированные детали. Из чьей-то распахнутой форточки доносились слова:

Подари мне лунный камень,  
Талисман моей любви...

Дома я час просидел на кровати. Все думал о том, что случилось. Как легко удалось этой девушке расстроить меня. Стоило ей уйти не простившись, и все. И вот я уже чуть не плачу.

Хотя, казалось бы, чего я ждал? Объяснения в любви на исходе первого дня знакомства? Бурной любовной сцены в холодном подъезде? Предложения сердца и руки?

Конечно нет. Однако я страдал и мучился. Ведь каждый из нас есть лишь то, чем себя ощущает. А я ощущал себя глубоко и безнадежно несчастным.

Наутро я решил, что буду вести себя по-другому. Я думал:

«Женщины не любят тех, кто просит. Унижают тех, кто спрашивает. Следовательно, не проси. И по возможности — не спрашивай. Бери, что можешь, сам. А если нет, то притворяйся равнодушным».

Так началась вся эта история.

\* \* \*

И вот она стоит на пороге. Такая же, между прочим, высокая и красивая.

Сколько лет мы не виделись? Пятнадцать?.. Я слышу:

— Как ты постарел! Ты страшно постарел! Ты отвратительно выглядишь!

И дальше без особой логики:

— Ты — моя единственная надежда. Жизнь кончена. Иван женился. У меня нет денег. И к тому же я беременна... Могу я наконец зайти!

Через минуту из уборной доносилось:

— Я приехала к Ваньке Самсонову. Но Ванька, понимаешь ли, женился. На этой... как ее?..

.....

Я спросил:

— Откуда?

— Что — откуда?

— Откуда ты приехала?

— Из Кливленда. Вернее, из Милуоки. Я там читала курс по Достоевскому. Услышала про ваш дурацкий форум. И вот приехала к Самсонову. И выясняется, что он женился. А я, представь себе, беременна.

— От Ваньки?

— Почему от Ваньки? Я беременна от Левы. Ты знаешь Леву?

— Леву? Знаю... Как минимум троих.

— Неважно. Все — один другого стоят... Короче, я обожаю Ваньку. Ванька сказал, что устроит меня на работу. Он женился. Кстати, ты знаком с этой бабой? Ей, говорят, лет двести.

— Рашель, извини, на два года моложе тебя.

— Ну, значит, сто. Какая разница?.. Мне Лева говорит — рожай. Его жене недавно вырезали почку. Деньги кончились. Контракт со мной не продлевают. Ванька обещал работу. Ты моя последняя надежда.

— В смысле?

— Я должна переодеться. Дай мне свой халат или пижаму.

— У меня нет халата и пижамы. Я, как ты, вероятно, помнишь, сплю голый.

— Какая мерзость! — слышу. — Ладно, завернусь в простыню. А ты пока купишь бы мне зубную щетку. У тебя есть деньги?

— На зубную щетку хватит...

В холле я увидел знаменитого прозаика Самсонова. Они с женой Рашелью направлялись в бар. Могу добавить — с беззаботным видом.

А теперь вообразите ситуацию. Я — анкермен, ведущий. Прилетел в командировку. Остановился в приличной гостинице. Скучаю по жене и детям. И вдруг, буквально за одну минуту — такое нагромождение абсурда. На моем диване, завернувшись в простыню, сидит беременная женщина. Причем беременная черт знает от кого. Сидит и обожает Ваньку. А он направляется в бар с красивой женой. А я несу в кулаке зубную щетку для этой фантастической женщины. И конца беспокойству не видно.

Захожу в свой номер. Тася спрашивает:

— Ну что?

Протягиваю ей зубную щетку.

— Так я и знала. Ты купил, что подешевле.

— Я купил то, что было. Неужели даже зубные щетки бывают плохие или хорошие?

— Еще бы. Я предпочитаю датские.

— Не ехать же, — говорю, — специально в Копенгаген.

Тася машет рукой:

— Ладно. Я тут кое-что заказала. Кстати, у тебя есть деньги?

— Смотря на что. Может, ты заказала ведро черной икры?

(Я знал, что говорю.)

— Почему — ведро? Две порции. Ну, и шампанское. Ты любишь шампанское?



- Люблю.
- В молодости ты пил ужасную гадость.
- Бывало...

Появился официант, толкая изящный столик на колесах. Тася с ним кокетничала, завернувшись в простыню. И, кстати, подпоясавшись моим французским галстуком.

Потом мы выпили. Потом звонили в Кливленд неведомому Леве. Тася говорила:

— Я в Лос-Анджелесе... С кем? Что значит — с кем? Одна... Допустим, у подруги. Ты ее не знаешь, она известная писательница.

И затем, повернувшись ко мне:

— Джессика, хани, сэй гуд найт ту май френд.

Я пропищал:

— Гуд найт.

Тася говорила с Левой минут двадцать. Даже на кровать прилегла.

Потом в коридоре раздался шум. Возвращались откуда-то мои коллеги.

Я узнал хриплый голос Юзовского:

— Русский язык, твою мать, наше единственное богатство!..

Тася говорит:

— Я бы с удовольствием выкупалась.

— Есть душ.

— Тут, в принципе, должно быть море.

— Точнее, океан.

Затем я услышал:

— А помнишь, как мы ездили в Солнечное?

\* \* \*

Тася подошла ко мне в университетской библиотеке. Она была в кофточке с деревянными пуговицами. Знакомые поглядывали в нашу сторону.

И вот она сказала:

— Поехали купаться.

— Сейчас?

— Лучше завтра. Если будет хорошая погода.

Я подумал — а сегодня? Чем ты занята сегодня?

И снова я целый вечер думал о Тасе. Я утешал себя мыслью: «Должна же она готовиться к зачетам. И потом — не могут люди видеться ежедневно...» При этом я был совершенно уверен, что видеться люди должны ежедневно, а к зачетам готовиться не обязательно.

Наутро я первым делом распахнул окно. Небо было ясное и голубое.

Я натянул брюки и теннисную рубашку. Кинул в чемоданчик темные очки, полотенце и сборник рассказов Бабеля. Потом заменил Бабеля Честертоном и отправился на вокзал.

Тася уже стояла возле газетного киоска. Ее сарафан казался пестрым даже на фоне журнальных обложек.

Мы купили билеты в автоматической кассе. Зашли в пригородную электричку. Сели у окна.

Было жарко, и я пошел за мороженым. А когда вернулся, Тася сказала: — Еще четыре минуты.

Мы помолчали. Вообще гораздо легче молчать, когда поезд тронется. Тем более что разговаривать и одновременно есть — довольно сложная наука. Владеют ею, я заметил, только престарелые кавказцы.

Тася поправляла волосы. Видно, думала, что я слежу за ней. А впрочем, так оно и было. Жара становилась невыносимой. Я дернул металлические зажимы и растворил окно. Тасины волосы разлетелись, пушистые и легкие.

Напротив расположился мужчина с гончим псом. Он успокаивал собаку, что-то говорил ей.

За моей спиной шептались девушки. Одна из них громко спрашивала: «Да, Лида?» И они начинали смеяться.

Под окнами вагона бродили сизые голуби.

Народу становилось все больше. Я не хотел уступать своего места. Но затем вошел лейтенант с ребенком, и я поднялся. Девушка тоже встала. Мы протиснулись в тамбур. По дороге я взял у Таси липкий бумажный стаканчик от мороженого. Выбросил его на шпалы. В тамбуре было прохладнее. Кто-то умудрился втащить сюда коляску от мотоцикла. Рядом на полу устроились юноши с гитарой. Один, притворяясь вором-рецидивистом, напевал:

Эх, утону ль я в Северной Двине,  
А может, сгину как-нибудь иначе,  
Страна не зарыдает обо мне,

Но обо мне товарищи заплачут...

Мы прошли в угол. Тася достала пачку американских сигарет. Я отрицательно покачал головой. Этого требовал мой принцип сдержанности. Она закурила, и я почувствовал себя так, будто женщина выполняет нелегкую работу. А я стою рядом без дела.

Потом вспоминали университетских знакомых. Тася сказала, что многие из них — эгоистичные, завистливые люди. Особенно те, которые пишут стихи.

Я сказал:

— Может, злятся, что их не печатают? Может, у них есть основания для злобы? Может быть, то, что называют эгоизмом, — всего лишь умение дорожить собой?

— Вы тоже пишете стихи?

В Тасином голосе прозвучало легкое недовольство. Очевидно, до сих пор я казался ей воплощением здоровья и наивности. Первая же моя осмысленная тирада вызвала ее раздражение. Как будто актер позабыл свою роль. Тася даже отвернулась.

Мы пересекли границу курортной зоны. Теперь можно было выйти на любой станции. Везде можно было найти хороший пляж и чистую столовую.

Я взял Тасю за руку и шагнул на платформу. Электричка отъехала, быстро набирая скорость. Толпа двигалась по главной улице к заливу.

Вдоль дороги располагались санатории и пионерские лагеря. Навстречу шли дачники, одетые в пригородном стиле. Проезжали велосипеды, сверкая никелированными ободами. Хорошо было идти твердой грунтовой дорогой, пересеченной корнями сосен.

Мы перешли шоссе, оставляя следы на горячем асфальте. Дальше начинался сероватый песок.

Окружающий пейзаж напоминал довоенный любительский фотоснимок. Все было обесцвечено морем, солнцем и песком. Даже конфетные бумажки потускнели от солнечных лучей. Перешагивая через распростертые тела, мы направились к воде. Песок здесь был холодный и твердый.

Мне захотелось уйти подальше от людей. Не сомневаюсь, что мое желание уединиться Тася восприняла как любовный призыв. Как хороший

партнер на ринге, девушка ответила мне целой серией испытующих взглядов. В голосе ее зазвучали строгие девичьи нотки. И наконец она решила заранее переодеться в специальной кабине. Наподобие ширм, эти раздевалки стояли в десяти метрах от воды.

Под фанерными стенками, не достигавшими земли, видны были щиколотки женщин. Я безошибочно узнал в этой сутолоке Тасины желтоватые пятки. Она переступала через нечто легкое и розовое.

Я чувствовал себя неловко, разгуливая в темных брюках среди полуголых людей. Затем подошел к воде, стал изучать далекие очертания Кронштадта. Песок опять стал твердым и холодным.

Тася подошла ко мне сзади. Она была в модном купальнике и резиновых туфлях. В ней чувствовалась завершенность хорошо отрегулированного механизма.

Поймав мой взгляд, Тася смущенно отвернулась. Она зашагала вдоль берега, а я двинулся следом.

Я любовался Тасей. Догадывался, что она не случайно идет впереди. То есть предоставляет мне возможность разглядывать себя.

У нее были сильные, обозначавшиеся при ходьбе икры. Талию стягивал плотный купальник. Между лопатками пролегал крутой желобок.

Я еще подумал — вот иду за ней как телохранитель.

Я заметил, что на Тасю обращают внимание. Это импонировало мне, вызывая одновременно легкий протест. Несколько парней в сатиновых трусах даже отложили карты.

Начинается, — подумал я.

Один из них что-то сказал под дружный хохот. Они располагались достаточно широким полукругом, и мне хватило бы короткой серии на всех. Я представил себе, как они лежат — близнецы в жокейских шапочках. А карты валяются рядом.

В эту секунду Тася обернулась и говорит:

— Не реагируйте. Я привыкла.

Мы прошли вдоль залива. Оказались в тени. Еще через несколько минут пересекли ручей, который блестел среди зелени. Я не был уверен, что девушке здесь понравится. Возможно, ей хотелось быть там, где звучит эстрадная музыка. Где раздается напряженный стук волейбольного мяча. Где медленно, как леопарды в джунглях, бродят рыхлые юноши. Они втягивают животы, расставляют локти, короче, изнемогают под бременем физического совершенства.

Несколько секунд прошло в легком замешательстве. Видно, зря я дал Тасе понять, что хотел бы уединиться. Девушка могла подумать, что за ней охотятся. Это не для меня. Ведь я решил быть сдержанным и небрежным. Я даже гордился этим решением.

Я скинул теннисную рубашку и брюки. Людей, далеких от бокса, мой вид способен разочаровать. Им кажется, что спортсмен должен быть наделен рельефной мускулатурой. Такие показатели, как объем грудной клетки, эти люди игнорируют. Зато непомерно развитые бицепсы внушают им священный трепет.

Девушка между тем свободно расположилась на одеяле. Мне оставалось лишь сесть на горячий песок. Во избежание ненужной близости, которая противоречила моим спартанским установкам.

Наступило молчание. Затем Тася неуверенно выговорила:

— Такой прекрасный день может закончиться грозой.

Я приподнялся, чтобы узнать, не собираются ли тучи. Туч не было, о чем я с радостью и возвестил.

И снова наступила тишина. Я молчал, потому что родился в бедном семействе. А значит, я буду небрежным и сдержанным. И прежде чем действовать, буду узнавать — во сколько мне это обойдется?

Тася вынула из сумочки маленький приемник без чехла. Раздались звуки джаза, и мы почувствовали себя естественнее. Как будто невидимая рука деликатно убавила свет.

Я встал и направился к морю. Думаю, Тася восприняла это как желание охладить свой пыл. Что, в общем-то, соответствовало действительности.

Сделав несколько шагов по усеянному камнями дну, я окунулся. Вскоре мне удалось достичь первого буйка. Алый раскаленный бок его покачивался над водой.

Я перешел на мерный брасс и вдруг ощутил, что задеваю коленями дно.

Я встал. Легкие волны катились по отмели. Ударяли меня ниже пояса. Признаться, я готов был дисквалифицировать весь Финский залив.

Можно лишь догадываться, как смешно я выглядел, покоряя эту грозную стихию. Стихию, расстилавшуюся на уровне моих довольно тощих бедер.

Я оглянулся. Было неясно, щурится Тася или смеется.

Я пошел вперед. Наконец уровень воды достиг подбородка. Песчаное

дно круто устремилось вниз. Я поплыл, ориентируясь на четкие силуэты Кронштадта. С криком проносились чайки. На воде мелькали их дрожащие колеблющиеся тени. Я заплывал все дальше, с радостью преодолевая усталость. На душе было спокойно и весело. Очертания рыболовных судов на горизонте казались плоскими. Приятно было разглядывать их с огромным вниманием.

Я заплыл далеко. Неожиданно ощутил под собой бесконечную толщу воды. Перевернулся на спину, выбрав ориентиром легкую розоватую тучку. На берег я вышел с приятным чувством усталости и равнодушия. Тася помахала мне рукой. Ее купальник потемнел от воды. Значит, она выкупалась у берега.

Тасино лицо казалось немного взволнованным и гордым. Как будто муж пришел с войны, а жена дежурит у околицы.

Я лег рядом, и Тася сказала:

— Какой вы холодный!..

Ее лицо помолодело без косметики. Кожа стала розовой и блестящей.

Мы пролежали без единого слова целую вечность. Наконец я достал часы из кармана брюк. Было около четырех. Свернув одеяло, мы босиком направились к шоссе. Прохожие разглядывали мою девушку с бросающимся в глаза интересом. Заметив это, Тася, не снимая купальника, облачилась в платье. Оно сразу же потемнело на бедрах.

Потом мы зашли в открытое кафе. Тася выпила рислинга, достала сигареты. Я чувствовал себя отцом расшалившейся дочери.

Иногда я замечал упрек в Тасиных глазах. Я стал думать — что произошло? Чем я провинился? Могу же я просто смотреть на эту девушку? Просто лежать с ней рядом? Просто сидеть в открытом кафе? Разве я виноват, что полон сдержанности?..

— Пора, — заявила Тася с обидой.

Мы сели в электричку. Девушка вынула из сумки книгу на английском языке и говорит:

— Это «Миф о Сизифе» Камю. Рассказ, вернее — эссе. Вы знаете, что такое эссе?

Я подумал, отчего ей так хочется считать меня невеждой? Затем сказал:

— Я даже знаю, что такое Камю. Не говоря о Сизифе.

В ответ прозвучало:

— Что вы, собственно, думаете о литературе?

(Вопрос был нормальный для той эпохи.)

— По-моему, — говорю, — литературе нельзя доверять свою жизнь. Поскольку добро и зло в литературе неразделимы. Так же, как в природе...

Тася насмешливо перебила:

— Я знаю, вы это у Моэма прочли.

Я не обиделся. Было ясно — девушке импонирует нечто грубое во мне. Проблески интеллекта вызывают ее раздражение.

Возможно, Тася претендовала на роль духовной опекуниши. То есть ждала от меня полного идиотизма. А я невольно разрушал ее планы.

Затем мы снова направились в тамбур. Я видел, что с Тасей пытаются заговаривать двое гражданских летчиков. Меня это совершенно не беспокоило. Я смотрел в окно.

Мы подъезжали к Ленинграду. Пейзаж за окном становился все более унылым. Потемневшие от дождей сараи, кривые заборы и выцветшая листва. Щегольские коттеджи, сосны, яхты — все это осталось позади. И только песок в сандалиях напоминал о море.

Мы вышли на платформу. Обогнали двух гражданских летчиков с фуражками в руках. Летчики явно ждали Тасю, которая равнодушно проследовала мимо.

Мы пересекли зал с огромными часами. Вышли на залитую солнцем улицу. Тася казалась обеспокоенной. Может быть, она чувствовала себя жертвой. Жертвой, чересчур опередившей своих преследователей.

Она спросила:

— Каковы дальнейшие планы?

— Вечером, — отвечаю, — я должен быть на Зимнем стадионе. Готовим к спартакиаде одного тяжеловеса из «Буревестника».

Тася сказала:

— Как я уважаю в людях развитое чувство долга!

Произнесено это было с досадой. Я же любовался собственным хладнокровием.

На стоянке такси было человек пятнадцать. Машины подходили ежесекундно. Наконец мы оказались первыми.

— Всего доброго, — говорю.

— Будьте здоровы. Желаю вам сегодня получить нокаут.

— Должен вас разочаровать. С ассистентами это бывает крайне редко. Разве что люстра упадет им на голову.

— Жаль, — откликнулась девушка.

И добавила с чуть заметной тревогой:

— Так вы мне позвоните?

— Разумеется.

В свете дня зеленый огонек такси был почти невидим. Шофер невозмутимо читал газету. Я услышал:

— Что с вами?

Тася была явно готова к уступкам. Как будто я оказался в магазине уцененных товаров. Всюду ярлыки с зачеркнутой цифрой. А рядом — указание новой, гораздо более доступной цены.

— Ну и тип! — сказала девушка.

Потом села в машину и захлопнула дверцу. А я направился к трамвайной остановке, чрезвычайно довольный собой.

\* \* \*

Шампанское было выпито. Часы показывали три.

Я услышал:

— Хорошо, что здесь две кровати.

— В смысле?

— Иначе ты бы спал на полу. Вернее, на ковре. А так — здесь две кровати на солидном расстоянии.

— Подумаешь, — говорю, — расстояние. Пешком два шага. А на крыльях любви...

— Не болтай, — сказала Тася.

— Успокойся, — говорю, — все нормально. Твоя неприкосновенность гарантируется.

— А вот этого ты не должен был говорить. Это хамство. Это ты сказал, чтобы меня унижить.

— То есть?

— Что значит — неприкосновенность гарантируется? Мужчина ты или кто? Ты должен желать меня. В смысле — хотеть. Понятно?

— Таська, — говорю, — опомнись. Мы тридцать лет знакомы. Двадцать лет назад расстались. Около пятнадцати лет не виделись. Ты обожаешь Ваню. Беременна от какого-то Левы. У меня жена и трое детей. (Я неожиданно прибавил себе одного ребенка.) И вдруг такое дело. Да не желаю я тебя хотеть. Вернее, не хочу желать. Вспомни, что ты мою жизнь исковеркала.

— Чем ты рискуешь? Все равно я тебя прогоню.



— Тем более.  
— А ты бы чего хотел?  
— Ничего. Абсолютно ничего. Абсолютно...  
— И еще, зачем ты сказал, что я беременна?  
— Это ты сказала, что беременна.  
— Разве заметно?  
— Пусть даже незаметно. Но сам факт... И вообще... Я не понимаю, о чем разговор? Что происходит?  
— Может, ты стал импотентом?  
— Не беспокойся, — говорю, — у меня трое детей.  
(Я вынужден был повторить эту цифру.)  
— Подумаешь, дети. Одно другому не мешает. Кстати, мне рассказывали сплетню о твоей жене.  
— Послушай, на сегодня хватит. Я ложусь. Ты можешь выйти на секунду?  
— Я не смотрю.  
Я быстро разделся. Слышу:  
— Знай, что у тебя патологически худые ноги.  
— Ладно, — отвечаю, — я не франт...

Тася еще долго бродила по комнате. Роняла какие-то банки. Курила, причесывалась. Даже звонила кому-то. К счастью, не застала абонента дома. Я услышал:

— Где эта сволочь шляется в три часа ночи?  
— Куда ты звонишь?  
— В Мериленд.  
— В Мериленде сейчас девять утра.  
Тася вдруг засмеялась:  
— Ты хочешь сказать, что он на работе?  
— Почему бы и нет? И кто это — он?  
— Он — это Макси. Я хотела побеседовать с Макси.  
— Кто такой Макси?  
— Доберман.  
— Неплохая фамилия для старого ловеласа.  
— Это не фамилия. Это порода. Их три брата. Одного зовут Мини. Другого — Миди. А третьего — Макси. Его хозяин — мой давний поклонник.  
— Спокойной ночи, — говорю.  
Вдруг она неожиданно и как-то по-детски заснула. Что-то произносила

во сне, шептала, жаловалась.

А я, конечно, предавался воспоминаниям.

\* \* \*

Мы тогда не виделись пять дней. За эти дни я превратился в неврастеника. Как выяснилось, эффект моей сдержанности требовал ее присутствия. Чтобы относиться к Тасе просто и небрежно, я должен был видеть ее.

Мы столкнулись в буфете. Я, как назло, что-то ел. Тася хмуро произнесла:

— Глотайте, я подожду.

И затем:

— Вы едете на бал?

Речь шла о ежегодном студенческом мероприятии в Павловске.

Я подумал — конечно. Однако чужой противный голос выговорил за меня:

— Не знаю.

— Мне бы хотелось знать, — настаивала Тася, — это очень важно.

Я посмотрел на Тасю и убедился, что она не шутит. Значит, все будет так, как я пожелаю. Я обрадовался и мысленно поблагодарил девушку за эти слова. Однако сразу же заговорил про каких-то родственников. Тут же намекнул, что родственники — это просто отговорка. Что в действительности тут романтическая история. Какие-то старые узы... Чье-то разбитое сердце...

Тася перебила меня:

— Я хотела бы поехать с вами.

— Вот и прекрасно.

Мне показалось, что я заговорил наконец искренним тоном. Помню, как я обрадовался этому. Однако сразу же понял, что это не так. Искренний человек не может прислушиваться к собственному голосу. Не может человек одновременно быть собой и находиться рядом...

— Так вы поедете? — слышу.

— Да, — говорю, — конечно...

Мы собрались около шести часов вечера. На платформе уже лежали длинные фиолетовые тени.

На перроне я встретил друзей. Мы решили зайти в магазин. После

этого наши карманы стали заметно оттопыриваться.

Тасю я видел несколько раз. Однако не подошел, только издали махнул ей рукой. Рядом с ней бродил известный молодой поэт. Лицо у него было тонкое, слегка встревоженное. Он был похож на аристократа. Хотя в предисловии к его сборнику говорилось, что он работает фрезеровщиком на заводе.

В результате они куда-то исчезли. Растворились в толпе. А может быть, сели в электричку.

Разыскивать Тасю я не имел возможности. В карманах моих тихо булькал общественный портвейн.

А ведь я мог сразу же подойти к ней. И теперь мы бы сидели рядом. Это могло быть так естественно и просто. Однако все, что просто и естественно, — не для меня.

Мы разошлись по вагонам. С нами ехали ребята из «Диксиленда». Они были в американских джинсах и розовых сорочках. Мне нравились их широкие ремни, а вот соломенные шляпы казались чересчур декоративными.

Трубач достал блестящий инструмент. Он дважды топнул ногой и заиграл прямо в купе. К нему, расстегнув брезентовый чехол, присоединился гитарист. Через минуту играли все шестеро.

Они играли с неподдельным чувством, заглушая шум колес. Кто-то передал мне бутылку вермута. Я сделал несколько глотков. Затем, дождавшись конца музыкальной фразы, протянул бутылку гитаристу. Тот улыбнулся и отрицательно покачал головой.

Я перешел в тамбур. Грохот колес тотчас же заглушил джазовую мелодию.

Когда мы подъехали, стемнело. Из мрака выступал лишь серый угол платформы. Да еще круглый светящийся циферблат вокзальных часов. Несколькими группами мы шли к Павловскому дворцу. «Диксиленд» играл «Бурную реку». Затем «Больницу Святого Джеймса». Музыка, звучащая в темноте, рождала приятное и странное чувство.

Силуэт дворца был почти неразличим во мраке. И только широкие желтые окна подсказывали глазу его внушительные контуры.

Бал начался с короткой вступительной речи декана. Закончил он ее словами:

— Впереди, друзья, лучшие годы нашей жизни!

Затем сел в персональную машину и уехал.

Мы отправились в буфет и заказали ящик пива. Мы решили, что будем хранить его под столом и вынимать одну бутылку за другой.

Тася сидела неподалеку от меня. Она казалась счастливой. Я не глядел в ее сторону. Молодой поэт что-то вполголоса говорил ей. Он был в чуть залоснившемся пиджаке из дорогой материи. Из кармана торчала вторая пара очков. Его тонкое лицо выражало одновременно силу и неуверенность. Тасина сумочка висела на ручке его кресла.

В этот момент раздались аплодисменты. Я посмотрел туда, где возвышалась круглая эстрада. Но сцена была уже пуста.

— Юмор ледникового периода, — сказал Женя Рябов, убирая магниевую вспышку.

Речь шла о предыдущем выступлении.

Затем появилась толстая девушка с арфой. Она играла, широко расставив ноги. У нее было мрачное выражение лица.

Вдруг исчез поэт. Я хотел было развязно сесть на его место. Потом заметил на сиденье очки. Еще через секунду выяснилось, что он уже на эстраде. И более того, читает, страдальчески морщась:

От всех невзгод мне остается имя,  
От раны — вздох. И угли — дар костра.  
Еще мне остается — до утра  
Бродить с дождем под окнами твоими...

Тася повернулась ко мне и неожиданно сказала:

— Дайте спички.

Спичек у меня не было. Тогда я почти закричал, обращаясь ко всем незнакомым людям доброй воли:

— Дайте спички!

Тася глядит на меня, а я повторяю:

— Сейчас... Сейчас...

А друзья уже протягивают мне спичечные коробки и зажигалки.

— Милый, — улыбнулась Тася, — что с вами? Я же здесь ради вас.

Тогда я зашептал, рассовывая спички по карманам:

— Правда? Это правда? Значит, я могу быть рядом с вами?

Тася кивнула.

— А этот? — спросил я, указывая на забытые очки.

— Он мой друг, — сказала Тася.  
— Кто? — переспросил я.  
— Друг.  
Слово «друг» прозвучало чуть ли не как оскорбление.

Поэт кончил читать. Я как сумасшедший захлопал в ладоши. Кто-то даже обернулся в мою сторону.

Поэт возвратился к столу. У него было радостное, совершенно изменившееся от этого лицо. Он поклонился Тасе. Затем уселся на собственные очки. И горячо заговорил с аспирантом, который принес два бокала вина.

— Да, но у Блока полностью отсутствовало чувство юмора, — шумел аспирант.

Поэт отвечал:

— Куда важнее то, что этот маменькин сынок был дико педантичен...

Тася улыбалась поэту. Было видно, что стихи ей нравятся. Поэт казался взволнованным и одновременно равнодушным.

Я злился, что он не интересуется Тасей. Это меня каким-то странным образом унижало. И все же я разглядывал его почти с любовью.

Он между тем приподнялся. Не глядя, вытащил из-под себя очки. Установил, что стекла целы. Сел. Достал из кармана несколько помятых листков. Затем начал что-то писать, растерянно и слабо улыбаясь.

Над столиками поднимался ровный гул. Иногда в нем отчетливо проступал чей-то голос. То и дело раздавался звук передвигаемого стула. Доносилось позвякивание упавшего ножа.

Вдруг стало шумно. Все заговорили о пишущих машинках.

— Рекомендую довоенные американские модели.

Это сказал незнакомый толстяк, вылавливая из банки ускользающий маринованный помидор. Консервы он, вероятно, привез из города. Что меня несколько удивило.

Вмешался Женя Рябов:

— Мой идеал — «Олимпия» сороковых годов. Сплошное железо. Никакой синтетики.

— Синтетика давно уже не в моде, — рассеянно подтвердила Тася.

— Что тебя не устраивает в «Оптиме»? — повернулся к Рябову Гага Смирнов.

— Цена! — ответили ему все чуть ли не хором.

- За такую вещь и двести пятьдесят рублей отдать не жалко.
- Отдать-то можно, — согласился Рябов, — проблема, где их взять.
- Предпочитаю «Оливетти», — высказался Клейн.
- У «Оливетти» горизонтальная тяга.
- Это еще что такое?
- А то, что ее в починку не берут...

Неподалеку от меня сидела девушка в бордовом платье. Я увидел ее желтые от никотина пальцы на ручке кресла. Вот она уронила столбик пепла на колени. Я с трудом отвел глаза.

— Здравствуй, Тарзан! — сказала девушка.

Я молчал.

— Здравствуй, дитя природы!

Я заметил, что она совершенно пьяная.

— Как поживаешь, Тарзан? Где твои пампасы? Зачем ты их покинул?

Тася неожиданно и громко уточнила:

— Джунгли.

Видимо, она прислушивалась к этому разговору.

Девушка враждебно посмотрела на Тасю и отвернулась.

Потом я услышал:

— Вот, например, Хемингуэй...

— Средний писатель, — вставил Гольц.

— Какое свинство, — вдруг рассердился поэт. — Хемингуэй умер.

Всем нравились его романы, а затем мы их якобы переросли. Однако романы Хемингуэя не меняются. Меняешься ты сам. Это гнусно — взваливать на Хемингуэя ответственность за собственные перемены.

— Может, и Ремарк хороший писатель?

— Конечно.

— И какой-нибудь Жюль Верн?

— Еще бы.

— И этот? Как его? Майн-Рид?

— Разумеется.

— А кто же тогда плохой?

— Да ты.

— Не ссорьтесь, — попросила Тася и взяла меня за руку.

— Что такое? — спрашиваю.

— Ничего. Идемте танцевать.

Музыка, как назло, прекратилась. Но мы все равно ушли.

Мы бродили по дворцовым коридорам. Сидели на мягких атласных диванах. Прикасались к бархатным шторам и золоченым лепным украшениям. Обычная наша жизнь была лишена всей этой роскоши, казавшейся театральной, предназначенной исключительно для счастливой минуты.

Некоторые двери были заперты, и это тоже вызывало ощущение счастья.

Потом заиграла невидимая музыка. Девушка шагнула ко мне, и я положил ей руку на талию.

— Да обнимите же меня как следует, — заявила она, — вот так. Уже лучше. Мы не должны игнорировать сексуальную природу танца.

Я покраснел и говорю:

— Естественно...

О, если бы кто-нибудь меня толкнул! Я бы затеял драку. Меня бы увели дружинники. Я бы сидел в медпункте, где находился их пикет. Я бы спокойно давал показания и не краснел так мучительно.

Однако все как будто сговорились и не задевали меня. Да и в комнате мы были совершенно одни.

Тася была рядом. Потом еще ближе. И я уже не мог говорить. А она продолжала:

— Допустим, вы танцуете с женщиной. Это не значит, что вы обязательно станете ее любовником. Однако сама эта мысль не должна быть вам противна. Вам не противна эта мысль?

— Нет, что вы! — говорю, изнемогая от стыда.

Тут меня все же задела. Вернее, я сам задел плечом какую-то бамбуковую ширму.

Музыка прекратилась. Я обнаружил, что стою в центре комнаты, под люстрой. Тася ждала меня у двери. Она была в каком-то светящемся платье. Я задумался — могла ли она только что переодеться у всех на глазах? А может, она и раньше была в этом платье? Просто я не заметил?

Затем мы шли рядом по лестнице. Я долго искал алюминиевый номерок в раздевалке. За деревянным барьером женщины в синих халатах пили из термоса чай. У них были хмурые лица. Музыка сюда почти не доносилась.

Тася оделась и спрашивает:

— А где ваш плащ?

— Не знаю, — сказал я, — отсутствует...

Мы шли по выщербленным ступеням. Оказались в сыром и теплом парке. В ночи сияли распахнутые окна дворца. Музыка теперь звучала отчетливо и громко. Музыка и свет как будто объединились в эту ночь против холодной тишины.

Мы обогнули пруд. Подошли к чугунной ограде. Остановились в зеленой тьме на краю парка. Я услышал: — Ну что ты? Совсем неловкий, да? Хочешь, все будет очень просто? У тебя есть пиджак? Только не будь грубым...

Мы подошли к автобусной остановке. Остановились под фонарем. Я заметил у себя на коленях пятна от мокрой травы. Пиджак был в глине. Я хотел свернуть его, но передумал и выбросил.

Тася спросила:

— Я аморальная, да? Это плохо?

— Нет, — говорю, — что ты! Это как раз хорошо!

Подошел автобус. Оттуда выскочил мужчина с документами. На минуту исчез в фанерной будке.

Пожилая женщина в форменной шинели дремала у окна. На груди ее висели катушки с розовыми и желтыми билетами.

Помню Тасино отражение в черном стекле напротив.

Это был лучший день моей жизни. Вернее — ночь. В город мы приехали к утру.

Тасина подруга жила на Кронверкской улице в дореволюционном особняке с балконами. У подруги была отдельная квартира, набитая латышскими эстампами, фальшивой хохломой, заграничными грампластинками и альбомами репродукций. Даже в уборной стояла крашеная гипсовая Нефертити. Подруга взглянула на меня и ушла заваривать кофе. В ее шаркающей походке чувствовалась антипатия. Можно было догадаться, что сильного впечатления я не произвел.

Подруга вынесла чашки. Еще через секунду она появилась в шерстяной кофте и белых туфлях. Затем надела легкий серый плащ. Однако раньше чем уйти, подруга неожиданно спросила:

— Что с вами?

— Все нормально, — ответил я бодрым тоном.

Я даже испытал желание подпрыгнуть на месте. Так боксер, побывавший в нокдауне, демонстрирует судье, что он еще жив.



После этого мы остались вдвоем.

Сначала я услышал, как тикает будильник на мраморной подставке. Затем донесся шум капающей воды. Тотчас же раздались голоса на улице. И наконец — еле слышное позвякивание лифта за стеной.

Из темноты, как на фотобумаге, выплыли очертания предметов. Я увидел брошенную на ковер одежду, мои плебейские сандалии, хрупкие Тасины лодочки.

Затем вдруг ощутил чье-то присутствие. Встревоженно оглядевшись, заметил на шкафу клетку с маленькой розовой птицей. Она склонила голову, и вид у нее был дерзкий.

Я потушил сигарету. Пепельница в форме автомобильной шины лежала у меня на животе. Доньшко у нее было холодное.

И тут я произнес:

— Ты должна мне все рассказать.

Стало тихо. На лестнице звякнуло помойное ведро. Тася прикрыла глаза. Затем почти испуганно шепнула:

— Не понимаю.

— Ты должна мне все рассказать. Абсолютно все.

Тася говорит:

— Не спрашивай.

А я и рад бы не спрашивать. Но уже знаю, что буду спрашивать до конца. Причем на разные лады будет варьироваться одно и то же:

— Значит, я у тебя не первый?

Вопрос количества тогда стоял довольно остро. Лет до тридцати я неизменно слышал:

— Ты второй.

Впоследствии, изумленный, чуть не женился на девушке, у которой, по ее заверениям, был третьим.

Часто бывает — заговоришь о некоторых вещах и с этой минуты лишишься покоя. Все мы знаем, что такое боль невысказанных слов. Однако слово высказанное, произнесенное — может не только ранить. Оно может повлиять на твою судьбу. У меня бывало — скажешь человеку правду о нем и тотчас же возненавидишь его за это.

— Ты должна мне все рассказать!

— Зачем?.. Ну, хорошо. С этим человеком мы были знакомы три года.

— Почему же ты здесь?

— Ну, если хочешь, уйдем.

— Я хочу знать правду.

— Правду? Какую правду? Правда то, что мы вместе. Правда то, что нам хорошо вдвоем. И это все... Какая еще правда? Был один человек. Прошла зима, весна, лето, осень. Потом опять зима. Еще одно лето. И вот мы расстались. Прошлогодний календарь не годится сегодня.

Тася рассмеялась, и я подумал, что мог бы ее ударить. И вдруг прошептал со злобой:

— Я хочу знать, кто научил тебя всем этим штукам?!

— Что? — произнесла она каким-то выцветшим голосом.

А затем вырвалась и стала одеваться, повторяя:

— Сумасшедший... Сумасшедший...

\* \* \*

Рано утром в гостиницу позвонила моя жена. Я был в душе. Тася курила, роняя пепел на одеяло. Она и подошла к телефону. К счастью, заговорила по-английски:

— Спикинг!

Я выскочил из душа, прикрываясь рулоном туалетной бумаги. Вырвал трубку. Моя жена спросила:

— Кто это подходил?

Я сказал:

— Уборщица.

И трусливо добавил:

— Негритянка лет шестидесяти пяти.

— Подлец, — сказала Тася, впрочем, не очень громко.

Моя жена спросила:

— Как дела?

— Да все нормально!

— Ты когда вернешься?

— В среду.

— Купи по дороге минеральной воды.

— Хорошо, — говорю.

И с некоторой поспешностью вешаю трубку.

Тася спрашивает: — Это была твоя жена? Я ее не узнала. Извинись перед ней. Она мне нравится. Такая неприметная...

Мы выпили по чашке кофе. Я должен был ехать на конференцию. У Таши были какие-то другие планы. Она спросила:

— Кстати, у тебя есть деньги?

— Ты уже интересовалась. Есть. В известных, разумеется, пределах.

— Мне необходимо что-то купить.

— Что именно?

— Откровенно говоря, все, кроме зубной щетки.

Видно, на лице моем изобразилось легкое смятение.

— Ладно, — слышу, — не пугайся. Я могу использовать «американский экспресс».

— Это мысль, — говорю.

Потом звонили из моей конторы. Секретарша прочитала мне телекс из главного офиса в Кельне. Там среди прочего было загадочное распоряжение:

«Сократить на двенадцать процентов количество авторских материалов».

Я стал думать, что это значит. Число авторских материалов на радио было произвольным. Зависела эта цифра от самых разных факторов. Что значит — двенадцать процентов от несуществующего целого?

Вся эта история напомнила мне далекие армейские годы. Я служил тогда в лагерной охране. Помню, нарядчик сказал одному заключенному:

— Бери лопату и копай!

— Чего копать-то?

— Тебе сказали русским языком — бери лопату и копай!

— Да что копать-то? Что копать?

— Не понимаешь? В крытку захотел? Бери лопату и копай!..

Самое удивительное, что заключенный взял лопату и пошел копать...

Я поступил таким же образом. Продиктовал нашей секретарше ответный телекс:

«Количество авторских материалов сокращено на одиннадцать и восемь десятых процента».

Затем добавил: «Что положительно отразилось на качестве».

В борьбе с абсурдом так и надо действовать. Реакция должна быть столь же абсурдной. А в идеале — тихое помешательство.

Потом я отправился на заседание. Тася оставалась в гостинице. Когда я уходил, она сворачивала тюрбан из моей гавайской рубашки.

За день я побывал в трех местах. При этом наблюдал три сенсационные встречи. Первая имела место в Дановер-Холле. На заседании общественно-политической секции выступал Аркадий Фогельсон, редактор ежемесячного журнала «Наши дни». Говорил Фогельсон примерно то же, что и все остальные. А именно, что «Советы переживают кризис». Что эмиграция есть «лаборатория свободы». Или там — «филиал будущей России». Затем что-то о «нашей миссии». Об «исторической роли»...

Неожиданно из зала раздался отчетливый и громкий выкрик:

— Аркаша, хрен моржовый, узнаешь?

При этом из задних рядов направился к трибуне худой огромный человек с безумным взглядом.

На лице Фогельсона выразилось чувство тревоги. Он едва заметно рванулся в сторону, как будто хотел убежать. Но остался. Затем почти неслышным от испуга голосом воскликнул:

— А, Борис Петрович! Как же... Как же...

— Борух Пинхусович, — исправил человек, шагающий к трибуне, — ясно? Нет Бориса Петровича Лисицына. Есть Борух Пинхусович Фукс.

Человек с минуту подержал Фогельсона в объятиях. Потом, обращаясь к собравшимся, заговорил:

— Тридцать лет назад я стал рабкором. Мистер Фогельсон служил тогда в газете «Нарымский первопроходец». Я посылал ему свои заметки о людях труда. Все они были отвергнуты. Я спрашивал — где печататься рабочему человеку? В ответ ни звука.

Затем мистер Фогельсон перешел в областную газету «Уралец». Я развелся с женой и переехал в Кемерово. Я регулярно посылал мистеру Фогельсону свои заметки. Мистер Фогельсон их неизменно отвергал. Я спрашивал — где же печататься рабочему человеку? Никакой реакции.

Затем мистера Фогельсона назначили редактором журнала «Советские профсоюзы». Я развелся с новой женой и переехал в Москву. Я, как и прежде, отправлял мистеру Фогельсону свои заметки. Мистер Фогельсон, как вы догадываетесь, их отвергал. Я спрашивал — так где же печататься рабочему человеку? Ответа не было.

Затем я узнал, что мистер Фогельсон эмигрировал в Израиль. Стал издавать «Наши дни». Я развелся с третьей женой и подал документы на выезд. Через год я поселился в Хайфе. И вновь стал посылать мистеру Фогельсону заметки о людях труда. И вновь мистер Фогельсон их отвергал. Я спрашивал — так где же наконец печататься рабочему человеку? В ответ — гробовое молчание.

Теперь мистер Фогельсон перебрался в Америку. Я развелся с четвертой женой и приехал в Лос-Анджелес. И я хочу еще раз спросить — где же все-таки печататься рабочему человеку? Где, я вас спрашиваю, печататься рабочему человеку?!

До этой секунды Фогельсон безмолвствовал. Неожиданно он побелел, качнулся, сделал грациозное танцевальное движение и рухнул.

Началась легкая паника. Пользуясь моментом, я выбрался из рядов. На крыльце с облегчением закурил. Потом направился в церковную библиотеку.

Там как раз начинался обед. Где и произошла еще одна сенсационная встреча. В одном из залов были накрыты столы. Между ними лавировали участники форума с бумажными тарелками в руках. Американцы накладывали себе овощи и фрукты. Русские предпочитали колбасу, но главным образом белое вино. Наполнив тарелки, американцы затевали беседу. Мои соотечественники, наоборот, расходились по углам.

Я налил себе вина и подошел к распахнутому окну. Там на узкой веранде расположилась дружеская компания. Поэт Абrikосов взволнованно говорил:

— Меня не интересуют суждения читателей. Меня не интересуют суждения литературных критиков. Я не интересуюсь тем, что будут говорить о моих стихах потомки. Главное, чтобы мои стихи одобрил папа... Папа!..

Рядом с Абrikосовым я заметил невысокого плотного мужчину. На его тарелке возвышалась гора индюшачьих костей. Лицо мужчины выражало нежность и смятение.

— Папа! — восклицал Абrikосов. — Ты мой единственный читатель! Ты мой единственный литературный критик! Ты мой единственный судья!

Тут ко мне наклонился загадочный религиозный деятель Лемкус:

— Папа, должен вам заметить, объявился час назад.

— То есть?

— Это их первая встреча. Папа зачал Абrikосова и сбежал. Всю жизнь колесил по стране. А за ним всюду следовал исполнительный лист. Вернее, несколько листов от разных женщин. Наконец папа эмигрировал в Израиль. Вдохнул спокойно. Но к этому времени Абrikосов стал диссидентом. Через месяц его выдворили из Союза. Так они и встретились.

Я, как опытный халтурщик, сразу же придумал заголовок для

радиоскрипта: «Встреча на свободе».

А дальше что-нибудь такое:

«После тридцати шести лет разлуки отец и сын Абрикосовы беседовали до утра...»

Лемкус еще интимнее понизил голос:

— Такова одна из версий. По другой — они любовники.

— О господи!

— Поговаривают, что они находятся в гомосексуальной связи. Познакомились в Израиле. Там на это дело смотрят косо. Перебрались в Америку. Чтобы не было подозрений, выступают как отец и сын. В действительности же они не родственники. И даже не однофамильцы. Тем более что Абрикосов — это псевдоним. Настоящая его фамилия — Каценеленбоген...

В эту секунду у меня началась дикая головная боль. Я попрощался с религиозным деятелем и отправился в галерею Мориса Лурье.

Писатель и редактор Большаков уже заканчивал свое выступление. Речь шла о бесчинствах советской цензуры. О расправе над Гумилевым. О травле Пастернака и Булгакова. О самоубийстве Леонида Добычина. О романах, которые не издавались сорок лет.

В конце Большаков сказал:

— Цензура в России — сверстница книгопечатания. От нее страдали Пушкин, Герцен, Достоевский и Щедрин. Однако границы свободы в ту эпоху допускали неустанную борьбу за их расширение. Некрасов всю жизнь боролся с цензурой, то и дело одерживая победы.

Лишь в нашу эпоху (продолжал Большаков) цензура достигла тотальных масштабов. Лишь в нашу эпоху цензура опирается на мощный и безотказно действующий карательный аппарат. Лишь в нашу эпоху борьба с цензурой приравнивается к заговору...

Не успел Большаков закончить, как в проход между рядами шагнула американка средних лет.

— Долой цензуру, — крикнула она, — в России и на Западе!

И затем:

— Вы говорили о Пастернаке и Булгакове. Со мной произошла абсолютно такая же история. Мой лучший роман «Вернись, сперматозоид!» подвергся нападкам цензуры. Его отказались приобрести две школьные библиотеки в Коннектикуте и на Аляске. Предлагаю создать международную ассоциацию жертв цензуры!..

— Не вернется, — шепнул сидящий позади меня Гурфинкель.

— Кто?

— Сперматозоид, — ответил Гурфинкель. — Я бы не вернулся. Ни при каких обстоятельствах.

Доклад литературоведа Эрдмана назывался «Завтрашняя свобода». Речь шла о так называемой внутренней свободе, которая является уделом поистине творческой личности. Эрдману задавали вопросы. Молодой американец, по виду учащийся юридической или зубоветеринарной школы, сказал:

— Истинной свободы нет в России. Истинной свободы нет в Америке. Так в чем же разница?

Эрдман не без раздражения ответил:

— Разница существенная. Здесь ты произнес все это и благополучно уедешь домой на собственной машине. А москвича или ленинградца еще недавно увезли бы в казенном транспорте. И не домой, а в камеру предварительного заключения.

Затем произошла еще одна сенсационная встреча. Уже третья за этот день.

Бывший прокурор Гуляев выступал с докладом «Конституция новой России».

Подзаголовок гласил: «Правовые основы будущего демократического государства».

Речь шла о каких-то федеральных землях. О какой-то загадочной палате старейшин. О юридическом устройстве, при котором высшей мерой наказания будет депортация из страны.

В кулуарах Гуляева окружила толпа единомышленников и почитателей. Он что-то разъяснял, истолковывал, спорил. Будущее представлялось Гуляеву в ясном и радужном свете.

Но тут явился гость из прошлого. Мы услышали шум в задних рядах. Оттуда доносились сдавленные выкрики:

— Я этого мента бушлатом загоняю!.. Он у меня кирзу будет хавать!..

Эти слова выкрикивал знаменитый правозащитник Караваев. Его держали за руки Шагин и Литвинский. Караваев вырывался, но безуспешно. Изловчившись, он пнул Гуляева ногой в мошонку с криком:

— Вспомнил ты меня, краснопогонник?!

Гуляев, заслоняясь портфелем и болезненно смежив ноги, восклицал:

— Разве мы пили с вами на брудершафт? Я что-то не припомню...

Правозащитник сделал новый усиленный рывок. Но Шагин и Литвинский крепко держали его за плечи.

Караваев не унимался:

— Помнишь Октябрьский РОМ? Помнишь суд на Калугина, девять? Помнишь, как ты намотал мне червонец?

Гуляев неуверенно отвечал:

— Вы правы. Это было. Я согласен. Но это было задолго до моего прозрения. Задолго до моего нравственного перелома.

— Приморю гада! — рвался в бой Караваев.

Шагин миролюбиво говорил ему:

— Рыло этому типу набить, конечно, стоит. Но лучше бы где-то в другом месте. Иначе американцы подумают, что мы недостаточно толерантны.

Я вышел на балкон. Впереди расстилалась панорама Лос-Анджелеса. Внизу отчаянно гудели скопившиеся на перекрестке машины. Через дорогу, игнорируя раздражение водителей, неторопливо шла женщина. Она была в каких-то прозрачных газовых шароварах и с фиолетовой чалмой на голове.

Я понял, что водители затормозили добровольно. А сигналият — от переизбытка чувств.

Разумеется, это была Тася.

Она заметила меня и подошла к тротуару. Посмотрела вверх, заслонив ладонью глаза. Затем я услышал:

— Нет ли у тебя молока или сметаны?

— Представь себе, нет, — говорю. — Было, но кончилось.

Тася загадочно улыбнулась, как будто готовила мне приятный сюрприз:

— Дело в том, что я купила собачку. Двухмесячную таксу. При этом у меня нет денег. Щенка я приобрела в кредит. А молоко в кредит не отпускают...

— Где же, — спрашиваю, — этот несчастный щенок?

— В гостинице, естественно. Я соорудила ему гнездышко.

— Из моего выходного костюма?

— Почему из костюма? Всего лишь из брюк.

— Собаки, — говорю, — тебе не хватало.

Тася с удивлением посмотрела на меня.

— Это не мне. Это тебе. Подарок в честь Дня независимости. Ты же всегда хотел иметь собачку.



Подавленный, я с минуту разглядывал очертания домов на горизонте. Затем вдруг слышу:

— Молоко ты купишь по дороге. А вот как насчет сигарет?

Я очнулся и говорю:

— А не рано ли ему курить?

В ответ раздается:

— Не остри. И вообще, слезай. Что это за сцена на балконе!.. Пора обедать. Если, конечно, у тебя имеются деньги...

\* \* \*

Мы виделись с Тасей почти ежедневно. Часто просыпались рядом у одной из ее знакомых. Прощаясь, договаривались о новой встрече.

Постепенно наш образ жизни разошелся с давними университетскими традициями. Прекратились шумные вечеринки с разговорами о Хемингуэе, Джойсе и тибетской медицине. Остались в прошлом черствые бутерброды с кабачковой икрой. Забыты были жалкие поцелуи на лестнице.

Наконец-то реализовались мои представления о взрослой жизни. Об искушениях, чреватых риском. О неподдельном скептицизме тридцатилетних женщин и мужчин. Об удовольствиях, которые тогда еще не порождали страха.

Круг Тасиных знакомых составляли адвокаты, врачи, журналисты, художники, люди искусства. Это были спокойные, невозмутимые люди, обладавшие, как мне представлялось, значительным достатком.

Они часто платили за меня в ресторане. Брали на мою долю театральные контрамарки. Предоставляли мне место в автомобиле, если компания отправлялась на юг.

Они вели себя доброжелательно и корректно. Хотя я все же понимал, что один, без Таси, не могу считаться их другом.

Разглядывая этих людей, я старался угадать, кто из них тайно преследует мою девушку. При этом, должен заметить, вели они себя учтиво и непосредственно. Да и не принято было здесь иначе выражать свои чувства.

Долго я не мог понять, что объединяет этих столь разных людей. Затем уяснил себе, что принципы их вольного братства — достаток, элегантность и насмешливое отношение к жизни. В те годы я еще не знал, что деньги —

бремя. Что элегантность — массовая уличная форма красоты. Что вечная ирония — любимое, а главное — единственное оружие беззащитных.

Все они, разумеется, нравились женщинам. Завистники считают, что женщин привлекают в богачах их деньги. Или то, что можно на эти деньги приобрести. Раньше и я так думал, но затем убедился, что это ложь. Не деньги привлекают женщин. Не автомобили и драгоценности. Не рестораны и дорогая одежда. Не могущество, богатство и элегантность. А то, что сделало человека могущественным, богатым и элегантным. Сила, которой наделены одни и полностью лишены другие.

Тася как бы взошла над моей жизнью, осветила ее закоулки. И вот я утратил спокойствие. Я стал борющимся государством, против которого неожиданно открыли второй фронт.

Раньше я был абсолютно поглощен собой. Теперь я должен был заботиться не только о себе. А главное, любить не только одного себя. У меня возникла, как сказал бы Лев Толстой, дополнительная зона уязвимости. Жаль, что я не запомнил, когда это чувство появилось впервые. В принципе, это и был настоящий день моего рождения.

Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Тасиных друзей. Разумеется, эти люди меня не попрекали. И вообще проявляли на этот счет удивительную деликатность. (Возможно, из презрения ко мне.) Короче, я болезненно переживал все это.

Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне четыре рубля, пока Тася заказывала автомобиль. Видно, догадался о чем-то по моему растерянному лицу. Помню, меня травмировала сама эта цифра — 4. В ней была заложена оскорбительная точность. Четыре рубля — это было, как говорится в математике, — необходимо и достаточно. Что может быть оскорбительнее?

Сначала я продал мою жалкую библиотеку, которая чуть ли не целиком умещалась на тумбочке в общежитии. Потом заложил шерстяной спортивный костюм и часы. Я узнал, что такое ломбард с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. Пока Тася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах выплывала, как туча.

Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка — преступна.

Занимая деньги, я не имел представления о том, как буду расплачиваться. В результате долги стали кошмаром моей жизни.

Карман моего пиджака был надорван. Мои далеко не лучшие, однако единственные брюки требовали ремонта.

Разумеется, я мог бы подрабатывать, как и другие, на станции Московская товарная. Но это значило бы оставить Тасю без присмотра. Хотя бы на пять-шесть часов. Короче, это было исключено.

Всех людей можно разделить на две категории. На две группы. Первая группа — это те, которые спрашивают. Вторая группа — те, что отвечают. Одни задают вопросы. А другие молчат и лишь раздраженно хмурятся в ответ.

Я слышал, что пятилетние дети задают окружающим невероятное количество вопросов. До четырехсот вопросов за день. Чем старше мы делаемся, тем реже задаем вопросы. А пожилые люди их совсем не задают. Разве что профессора и академики — студентам на экзаменах. Причем ответы академикам заранее известны.

Человека, который задает вопросы, я могу узнать на расстоянии километра. Его личность ассоциируется у меня с понятием — неудачник.

Тасины друзья не задавали ей вопросов. Я же только и делал, что спрашивал:

— Почему ты вчера не звонила?

— Не могла.

— А может, не хотела?

— Не могла. К нам приходили гости, тетка с братом.

— И ты не могла позвонить?

— Я же позвонила... Сегодня.

— Ты могла этого не делать.

— Перестань.

— Ладно. Не позвонила и ладно. Важно другое. Важно, что ты не захотела позвонить. Могла и не захотела...

И так далее.

К этому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Тася же и раньше была неуспевающей. В деканате заговорили про наш моральный облик. Я заметил — когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговора становится его моральный облик.

Особенно беспокоил меня зачет по немецкой грамматике. Сначала я вообще не думал об этом. Затем попытался одолеть эту самую грамматику штурмом. В результате безоблачно ясное неведение сменилось искустельным тревожным полужнанием. Все немецкие слова звучали для

меня одинаково. Разве что кроме имен вождей мирового пролетариата.

Странные мечты я лелеял. Фантастические картины рисовались моему воображению.

Дело в том, что у преподавательницы немецкого языка Инны Клементьевны Гаук был шестнадцатилетний сын. Так вот, иду я раз по улице. Вижу — бедного мальчика обижают здоровенные парни. Я затеваю драку с этими хулиганами. На их крики о помощи сбегается вся местная шпана. Кто-то бьет меня ножом в спину.

— Беги, — шепчу я малолетнему Гауку.

Последнее, что я вижу, — трещины на асфальте. Последнее, что я слышу, — рев «неотложки». Темнота...

Инна Клементьевна навещает меня в больничной палате:

— Вы спасли жизнь моему Артурке!

— Пустяки, — говорю я.

— Но вы рисковали собой.

— Естественно.

— Я в неоплатном долгу перед вами.

— Забудьте.

— И все-таки, что я могу сделать для вас?

Тогда я приподнимаюсь — бледный, обескровленный, худой, и говорю:

— Поставьте тройку!

Фрау укоризненно грозит мне пальцем:

— Вопреки моим правилам я иду на этот шаг. При этом надеюсь, что вы еще овладеете языком Шиллера и Гете.

— Как только снимут швы...

— Кстати, оба воспевали мужество.

Я слабо улыбаюсь, давая понять, насколько мне близка эта тема.

— Ауф видер зеен, — произносит Инна Клементьевна.

— Чао, — говорю я в ответ.

На самом деле все происходило иначе. После долгих колебаний я отправился сдавать этот гнусный зачет. Мы с Инной Клементьевной уединились в небольшой аудитории. Она вручила мне листок папиросной бумаги с немецким текстом. Я изучал его минуты четыре. Само начертание букв таило враждебность. Особенно раздражали меня две пошлые точки над «ю».

Вдруг непроглядная тьма озарилась мерцанием знакомого имени —  
Энгельс. Я почти выкрикнул его и снова замолчал.

— Что вас смущает? — поинтересовалась Инна Клементьевна.

— Меня?

— Вас, вас.

Я наугад ткнул пальцем.

— Майн гот! Это же совсем просто. Хатте геганген. Плюсквамперфект  
от «геен».

Коротко и ясно, думаю.

Слышу голос Инны Клементьевны:

— Так что же вас затрудняет? Переводите сразу. Ну!

— Не читая?

— Читайте про себя, а вслух не обязательно.

— Тут, видите ли...

— Что?

— Тут, откровенно говоря...

— В чем дело?

— Тут, извиняюсь, не по-русски...

— Вон! — крикнула фрау неожиданно звонким голосом. — Вон  
отсюда!

Я позвонил заведующему спортивной кафедрой. Попросил его  
добиться отсрочек. Мартиросян в ответ твердил: — Ты подавал известные  
надежды. Но это было давно. Сейчас ты абсолютно не в форме. Я все  
улажу, если ты начнешь работать. Через месяц — первенство  
«Буревестника» в Кишиневе...

Разумеется, я обещал поехать в Кишинев. Хотя сама идея такой  
поездки была неприемлемой. Ведь это значило бы хоть ненадолго  
расстаться с Тасей.

Казалось, все было против меня. Однако жил я почти беззаботно. В ту  
пору мне удавалось истолковывать факты наиболее благоприятным для  
себя образом. Ведь человек, который беспрерывно спрашивает, должен  
рано или поздно научиться отвечать.

Жили мы, повторяю, беззаботно и весело. Ходили по ресторанам. Чуть  
ли не ежедневно оказывались в гостях.

.....

Тасины друзья, как правило, внушали мне антипатию. Однако я  
старался им нравиться. Реагировал на чужие шутки преувеличенно  
громким смехом. Предлагал свои услуги, если надо было пойти за

коньяком.

Тасю это раздражало.

Кто-нибудь говорил мне:

— Захватите стул из кухни.

Тася еле слышно приказывала:

— Не смей.

Так она боролась за мое достоинство.

Она внушала мне правила хорошего тона. Главное правило — не возбуждаться. Не проявлять излишней горячности. Рассеянная улыбка — вот что к лицу настоящему джентльмену.

Между прочим, суждения Тасиных друзей не отличались глубиной и блеском. Однако держались эти люди, не в пример мне, снисходительно и ровно. Что придавало их суждениям особую внушительность. Короче, чем большую антипатию внушали мне эти люди, тем настойчивее я добивался их расположения.

Иногда я не заставал Тасю дома в условленный час. Бывало, ее замечали с кем-то на улице или в ресторане. Раза два я почувствовал, что ее интересует какой-то мужчина.

С теми, кто ее интересовал, она держалась грубовато. Как и со мной в первые часы знакомства. Помню, Тася сказала одному фарцовщику:

— Знаете, на кого вы похожи? На разбитого параличом удава, которого держат в зоопарке из жалости...

Это было предательство. Нечто подобное она когда-то говорила мне. Казалось бы, пустяк, а я целую неделю страдал от ревности и унижения.

Страдая, я задавал ей бесчисленные вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял нелепую вопросительную форму:

— Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп?..

Я хотел скомпрометировать Шульмана в Тасиных глазах, достигая, естественно, противоположного результата.

Все мужчины, которых я знал, были с Тасей приветливы и корректны. Все они испытывали к ней дружеское расположение. И не более того. Однако жизнь моя была наполнена страхом. Я боялся, что все они тайно преследуют мою любовь.

Я готов был драться за свою любовь и очень жалел, что это не принято. Не принято было в этом обществе размахивать кулаками.

Ненавидел ли я эту жизнь? Отвечаю с готовностью — нет. Я проклинал и ненавидел только одного себя.

Все несчастья я переживал как расплату за собственные грехи. Любая обида воспринималась как результат моего собственного прегрешения. Поэтому Тася всегда была невинна. А я все думал:

«Если она права, то кто же виноват?!»

Чувство вины начинало принимать у меня характер душевной болезни. Причем далеко не всегда это имело отношение к Тасе.

Помню, я заметил на улице больного мальчика, ковылявшего вдоль ограды. Наверное, в детстве он болел полиомиелитом. Теперь он шел, страшно напрягаясь и взмахивая руками. Черты его лица были искажены.

Потом он заговорил с девочкой в красных ботинках. Очевидно, хотел, чтобы она помогла ему взобраться на бетонную ступеньку...

— Сам не может! Сам не может!

Девочка выкрикнула эти слова тем умышленно бойким и фальшивым голосом, которым разговаривают худенькие младшеклассницы, не поправившиеся за лето.

Мальчик еще раз неуклюже шагнул вперед. Затем с огромной досадой выговорил:

— У меня ноги больные.

И тут я почти упал на скамейку. Тася медленно, не оглядываясь, пошла вперед. А я все сидел. Так, словно притворялся, что и у меня больные ноги. Короче, бежал от этого мальчика с его несчастьем. А ведь разве это я его искалечил?

Помню, я увидел возле рынка женщину в темной старой одежде. Она заглянула в мусорный бак. Достала оттуда грязный теннисный мячик. Затем вытерла его рукавом и положила в сумку.

— Ленке снесу, — произнесла она так, будто оправдывалась.

Я шел за этой женщиной до самой Лиговки. Как мне хотелось подарить ее Ленке самые дорогие игрушки. И не потому, что я добрый. Вовсе не потому. А потому, что я был виноват и хотел откупиться.

Я понимал, что из университета меня скоро выгонят. Забеспокоился, когда узнал, что еще не все потеряно. Оказывается, ради меня собиралось комсомольское бюро. Были выработаны какие-то «рекомендации», чтобы мне помочь. Я стал объектом дружеского участия моих товарищей. Относились ко мне теперь гораздо внимательнее, чем раньше. Мне искренне желали добра. И я до сих пор вспоминаю об этом с чувством благодарности.

Мне рекомендовали учебники, из которых я должен был с легкостью

почерпнуть необходимые знания. Со мной готовы были заниматься частным образом. Наконец, Лева Гуральник подарил мне свои шпаргалки — феномен виртуозной утонченности и кропотливого труда.

Все было напрасно. По вечерам мы с Тасей развлекались. Днем она готовилась к экзаменам. А я предавался тупой бездеятельности, на что, кстати, уходила масса времени.

Я часами лежал на кровати. Анализировал нюансы Тасиного поведения. Допустим, ломал голову над тем, что она хотела выразить словами: «Можно подумать, что у тебя совсем нет кожи...»

Со дня знакомства наши отношения приобрели эффектный, выразительный характер. Похоже было, что мы играем какие-то фальшивые, навязанные окружающими роли.

Тасина красота и особенно — ее наряды производили сильное впечатление. Моя репутация боксера и внушительные габариты тоже заставляли людей присматриваться к нам. При этом я слегка утрировал манеры хмурого и немногословного телохранителя. Старался отвечать банальным идеалам мужества, которыми руководствовался в те годы.

Я с удовольствием носил в карманах Тасину пудреницу, гребенку или духи. Постоянно держал в руках ее сумочку или зонтик. А если улавливал насмешливые взгляды, то даже радовался.

«В любви обиды нет», — повторял я кем-то сказанную фразу.

В январе напротив деканата появился список исключенных. Я был в этом списке третьим, на букву Д. Меня это почти не огорчило. Во-первых, я ждал этого момента. Я случайно оказался на филфаке и готов был покинуть его в любую минуту. А главное, я фактически перестал реагировать на что-либо, за исключением Тасиных слов.

На следующий день я прочитал фельетон в университетской многотиражке. Он назывался «Восемь, девять... Аут!». Там же была помещена карикатура. Мрачный субъект обнимает за талию двойку, которой художник придал черты распущенной молодой женщины. Мне показали обоих — художника и фельетониста. Первый успел забежать на кафедру сравнительного языкознания. Второго я раза два ударил по физиономии Тасиными импортными ботами.

Несколько дней я провел в общежитии. Следовало отдать в библиотеку книги и учебники, но я поленился. Несколько лет затем меня преследовали уведомления, грозившие штрафом в десятикратном размере. Иногда, в самую неожиданную минуту, я прямо-таки замирал от страха. То есть вдруг



ощущал неопределенность своего положения.

Я собрал вещи. Затем простился с однокурсниками. Они советовали мне не падать духом. Улыбались и говорили, что все будет хорошо.

Что-то меня раздражало в их поведении. Я вспомнил, как лет пятнадцать назад заболел мой отец. Меня отправили за кислородной подушкой. Я шел и плакал. Затем повстречал учителя тригонометрии Буткиса.

— Не переживай, — сказал мне Буткис, — врачи частенько ошибаются. Все будет хорошо.

С тех пор я его ненавидел. Врачи не ошибаются. Родители болеют и умирают.

Что хорошего было у меня впереди?

Люди предохраняют себя от чужих неприятностей. Хранят иллюзию собственного благополучия. Опасаются всего, что там, за поворотом.

Ты идешь по улице, жизнерадостный и веселый. Заходишь в собственный двор. Возле одного из подъездов — голубой микроавтобус с траурной лентой на радиаторе. И настроение у тебя сразу же портится. Ты задумываешься о смерти. Ты понимаешь, что она бродит и среди жильцов нашего дома.

Покинув общежитие, я снял шестиметровую комнату в районе новостроек. Окна моего жилища выходили на захламленный пустырь. За стеной орал двухмесячный ребенок. Впоследствии мы с Тасей прозвали его — «любимый ученик Армстронга». Меня все это не смущало. Я привык. Недаром моим соседом по общежитию был Рафа Абдулаев — тромбонист университетского джаза.

Главное, у меня была своя комната. Я мог быть с Тасей наедине. Именно теперь мы стали близки по-настоящему. Как будто поднялись на гору, откуда различаешь все — дурное и хорошее.

Я без конца думал о Тасе. Жил без единой минуты равнодушия. А следовательно, без единой минуты покоя. Я боялся ее потерять. Если все было хорошо, меня это тоже не устраивало. Я становился заносчивым и грубым. Меня унижала та радость, которую я ей доставлял. Это, как я думал, отождествляло меня с удачной покупкой. Я чувствовал себя униженным и грубил. Что-то оскорбляло меня. Что-то заставляло ждать дурных последствий от каждой минуты счастья.

Любую неприятность я воспринимал как расплату за свои грехи. И наоборот, любое благо — как предвестие расплаты.

Мне казалось, что я не должен радоваться. Не должен открыто выражать свои чувства. Показывать Тасе, как она мне дорога.

Я притворялся сдержанным. Хотя догадывался, что утаить любовь еще труднее, чем симулировать ее.

Больше всего мне нравились утренние часы. Мы выходили из дома. Шли по освещенной фонарями улице. Завтракали в кафе на площади Мира.

Мы целую ночь были вместе. И теперь, после этой чрезмерной близости, равнодушие окружающих, все многообразие их далекой жизни — успокаивало нас.

В такие минуты я чувствовал себя почти уверенно. А однажды чуть не заплакал, когда Тася едва шевельнула губами, но мне удалось расслышать:

— Я так счастлива...

Каждое утро я выходил из дома, пытаясь найти работу. Я бродил по товарным станциям, читал объявления, расспрашивал знакомых.

Иногда мне предлагали работу. И я мог сразу же приступить к ней. Но почему-то отказывался. Что-то останавливало меня. Я думал — ну что от этого изменится? Возникнет лишь иллюзия порядка, которая тотчас же будет развеяна надвигающейся грозой. Я знал, или догадывался, что мои проблемы, в сущности, неразрешимы.

Почему я даже в шутку не заговаривал с Тасей о женитьбе? Почему с непонятным упорством избегал этой темы?

Очевидно, есть во мне инстинкт собственника. И значит, я боялся ощутить Тасю своей, чтобы в дальнейшем не мучиться, переживая утрату.

Став ее законным мужем, я бы навсегда лишился покоя. Я бы уподобился разбогатевшему золотоискателю, который с пистолетом охраняет нажитое добро.

Я продолжал задавать ей вопросы. Причем в такой грамматической форме, которая содержала заведомое отрицание:

— Ты не поедешь ко мне? Ты не желаешь меня видеть? Ты больше не любишь меня?..

Может, надо было кричать:

— Поедем! Я с тобой! Люби меня!

И вот однажды я сказал: «Ну хочешь, мы поженимся?»

Тася удивленно посмотрела на меня. Ее лицо стало злым и торжествующим. Кроме того, в нем была обыкновенная досада. Я

услышал:

— Ни за что!

С тех пор я уговаривал ее каждый день, приводил разнообразные доводы и аргументы. Целый год уклонялся от разговоров на эту тему, а сейчас без конца повторял:

— Мы должны пожениться... Что подумают твои родители?.. Зачем нам ложная свобода?!

И так далее.

Мысленно я твердил:

«Только бы она не уходила. Я буду работать. Буду дарить ей красивую одежду. Если потребуется, буду воровать. Я перестану задавать ей вопросы. Не буду мстить за то, что полюбил...»

При этом я клялся:

«Как только мы помиримся, я сам уйду. Сам. Первый...»

Однажды мы шли по городу. Продуваемые ветром улицы были темны. Фары машин пронизывали завесу мокрого снега. Я молчал, боясь огорчить Тасю, вызвать ее раздражение. Я думал — сейчас она взглянет на часы. Сейчас замедлит шаг возле троллейбусной остановки. Потом уедет, а я останусь здесь. На этой освещенной полоске тротуара. Под этим снегом.

Окажись вместо меня кто-то другой, я бы нашел простые и убедительные слова. Я бы сказал:

«Твое положение безнадежно. Ты должен уйти. Мир полон женщин, которые тебя утешат. А сейчас — беги и не оглядывайся...

Ты с детства ненавидел унижения. Так не будь лакеем и сейчас...

Ты утверждаешь, что она жестока? Ты желал бы объясниться по-хорошему?

Что же может быть хорошего в твоём положении? Зачем эти жалкие крохи доброты — тебе, которому она целиком принадлежала?..

Ты утверждаешь — значит не было любви. Любовь была. Любовь ушла вперед, а ты отстал. Вон поскрипывает табличка. Кусок зеленой жести с номером троллейбуса. Троллейбуса, который отошел...

Ты жалуешься — я, мол, не виноват. Ты перестал быть человеком, который ей необходим. Разве это не твоя вина?..

Ты удивляешься — как изменилась эта девушка! Как изменился мир вокруг!

Свидетельствую — мир не изменился. Девушка осталась прежней — доброй, милой и немного кокетливой. Но увидит все это лишь человек, которому она принадлежит...

А ты уйдешь».

Вереница зданий проводила нас до ограды. Мы больше часа сидели под деревьями. Каждая веточка с ее зимним грузом отчетливо белела на темном фоне.

Я молчал. Переполненная страхом тишина — единственное, что внушало мне надежду.

Раз я молчу, еще не все потеряно. Беда явится с первым звуком. Не случайно в минуты опасности человек теряет дар речи. Затем раздается его последний крик. И конец...

Так значит, молчание — есть порука жизни. А крик — соответственно — убивает последнюю надежду... Где это я читал:

Быть может, прежде губ уже родился шепот,  
И в бездревесности кружились листья...

Любой ценой я захотел избавиться от этих тяжелых мыслей. Я потянул Тасю за руку. Сжал ее кисть, такую хрупкую под варежкой. Повел ее к себе.

Кажется, это был мой первый естественный жест за всю историю наших отношений.

Дома я зажег лампу. Тася опустила руки. Она не скинула платье. Она выступила, избавилась от него. Как будто лишилась вдруг тяжелой ноши.

Я начал стаскивать одежду, кляня персонально все ее детали — сапожные шнурки, застежку-молнию. Шнурки в результате порвал, а молнию заклинило.

Наконец Тася укрылась простыней. Она достала сигареты, я варил кофе.

Но кофе остыл. Мы к нему едва притронулись...

Было очень рано. Я сунул ноги в остывшие шлепанцы. Тася открыла глаза.

— И утро, — говорю, — тебе к лицу. Ну, здравствуй.

Я увидел мои грубые башмаки и легкие Тасины сапожки. Они были как живые существа. Я их почти стеснялся. Рядом на стуле плоско висели мои гимнастические брюки.

Тася быстро оделась при свете. Исчезла под яркими тряпками, которые

были мне ненавистны. Провела розовой кисточкой около глаз. Что-то проделала с волосами. Затем, наклонившись, поцеловала меня:

— Не скучай.

Захлопнулась дверь, и я почувствовал себя таким одиноким, каким еще не был. Весь мир расстился передо мной, залитый светом и лишенный благосклонности. Он вдруг представился мне как единое целое.

Я взял сигарету, вернее, окурок из пепельницы. Их было много, длинных, почти нетронутых, с обугленными концами. Ведь мы курили так поспешно.

Я заметил след рассыпанной пудры. Это был розовый полукруг у основания воображаемой коробки. Я думал о Тасе и всюду замечал следы ее пребывания. Даже мокрого полотенца коснулся. А вечером Тася переехала ко мне.

Вскоре я начал работать смотрителем фасадов. Это была странная должность. Я наблюдал за историческими памятниками, которые охранялись государством. Реально это значило — стирать мокрой тряпкой всяческую похабщину, а также бесконечные «Зина + Костя».

Я целыми днями бродил по городу. Вероятно, я и раньше был смотрителем фасадов, только не подозревал об этом. А главное, не получал за это денег.

Иногда я задавал себе вопрос — а что же дальше? Ответа не было. Я старался не думать о будущем.

Утвердился март с неожиданными дождями и предчувствием летнего зноя. Мокрый снег оседал на газонах и крышах. Тася, захватив свои вещи, окончательно перебралась ко мне. Моей зарплаты и ее стипендии хватало, в общем-то, на жизнь.

Случалось, Тася уходила вечером одна. Бывало так, что возвращалась поздно. Говорила, что занимается с подругами, у которых есть необходимые пособия.

Я притворялся, что верю ей. А если и удерживаю, то чтобы не скучать.

Втайне я подозревал и даже был уверен, что Тася меня обманывает. Воображение рисовало мне самые унижительные подробности ее измен.

Я стал хитер и подозрителен. Я тайно перелистывал ее записную книжку. Я караулил ее на пороге, стараясь уловить запах вина. Я мог бы попытаться выследить ее. Однако жили мы в районе новостроек. Между домами здесь обширные пространства — трудно спрятаться.

Наедине с Тасей я проклинал ее друзей. Встречаясь с ними, был подчеркнуто любезен. Давно замечено: что-то принуждает мужчину быть особенно деликатным с воображаемыми любовниками его жены.

Моя ревность усиливалась с каждым днем. Она уже не требовала реальных предпосылок. Она как бы вырастала из собственных недр. То есть мои домыслы были источником страданий. А страдания порождали к жизни все новые домыслы.

Каждую ночь я бесшумно вставал. Вытаскивал Тасин портфель. А затем, сидя на борту коммунальной ванны, перелистывал ее тетради. Руководила мной отнюдь не страсть к филологии. Я высчитывал объем последних записей. Делил эту цифру на время Тасино отсутствия. Выводил формулу производительности труда. Устанавливал, сколько лишних минут было в Тасином распоряжении. А потом, наконец, решал, можно ли за это время изменить любимому человеку.

Ревность охватила меня целиком. Я уже не мог существовать вне атмосферы подозрений. Я уже не ждал конкретных доказательств Тасино вероломства. Моя фантазия услужливо рисовала все, что нормальным людям требуется для самоубийства.

Короче, была главная и единственная причина моих страданий. Я знал, что жена уходит от меня всегда, днем и ночью. Даже в те минуты, когда... (Не хочу продолжать.)

Я задавал ей вопросы и уже не ждал ответов. Я предлагал ей решения, заведомо неприемлемые. Я радовался, обнаруживая свидетельства Тасиной лени, мотовства и эгоизма.

Я не ощущал последовательности в этом запутанном деле. Может быть, я сначала потерял эту девушку и лишь затем она ушла? Или все-таки наоборот?

Если за беглецом устремляется погоня, то как, интересно, эти явления связаны? Что здесь следствие? Что причина?

Где же я все-таки читал:

Быть может, прежде губ уже родился шепот,  
И в бездревесности кружились листья,  
И те, кому мы посвящаем опыт,  
До опыта приобрели черты...

Самое ужасное, что Тася перестала опровергать мои доводы. Каждый день я обвинял ее в смертных грехах. Тася лишь утомленно кивала в ответ.

Я спрашивал:

— Где ты была?

— Опять...

— Я хочу знать, где ты была?

— Ну, занималась.

— Что значит — ну?

— Занималась.

— Чем?

— Не помню.

— То есть как это — не помню? Откуда у тебя заграничные сигареты?

— Меня угостили.

— Кто? Ничтожный Шлиппенбах?

— Допустим.

— Этот претенциозный болван, который всегда говорит одно и то же?

— На шести языках.

— Не понял.

— Это неважно.

— Значит, ты была у него?

— Ну, хорошо — была.

— Что значит — хорошо? Была или не была?

— Не помню. Что ты хотел бы услышать?

— Правду.

— Я и говорю правду, которая тебя не устраивает.

— Я хочу знать, где ты была, и все.

— Неважно.

— Как это — неважно?

— В читальном зале.

.....

Ну, и так далее...

Бывает, ты разговариваешь с женщиной, приводишь красноречивые доводы и убедительные аргументы. А ей не до аргументов. Ей противен сам звук твоего голоса.

Иногда Тася порывалась уйти. Я почти силой удерживал ее. Я просил Тасю остаться, но знал, что могу ее ударить. Тася оставалась, и вскоре я уже не мог поверить, что был способен на это.

Если нам так хорошо, думал я, то все остальное — мои фантазии. От этого необходимо излечиться. А что, если ощущение счастья неминуемо включает предчувствие беды? Недаром у Дюма так весело пируют

мушкетеры за стенами осажденной крепости.

\* \* \*

Мы на такси подъехали к гостинице. В лифте я поднимался с ощущением тревоги. Как поживает щенок и что он успел натворить? Не исключено, что меня уже выселили.

В коридоре мы повстречали улыбающуюся горничную. Это меня несколько успокоило. Хотя в Америке улыбка еще не показатель. Бог знает, что здесь проделывается с улыбкой на лице.

Щенок благополучно спал под кондиционером. Тася соорудила ему гнездышко из моих фланелевых штанов. Разумеется, малыш успел замочить их.

Я осторожно вытащил его из гнезда. Чуть приоткрылись мутные аквамариновые глазки. Толстые лапы напряженно вздрагивали.

От щенка уютно пахло бытом. Такой же запах я ощущал много лет назад в поездах дальнего следования.

Я вытащил из сумки купленное по дороге молоко. Тщательно вымыл одну из бронзовых пепельниц. Через секунду щенок уже тыкался в нее заспанной физиономией.

— Назови его — Пушкин, — сказала Тася, — в знак уважения к русской литературе. Пушкин! Пушкин!..

В ответ щенок зевнул, демонстрируя крошечную пасть цвета распустившейся настурции.

— Не забудь, — сказала Тася, — к шести мы едем в Беверли-Хиллс. Это было что-то вроде светского приема. «Танго при свечах» в особняке Дохини Грейстоун. Так было сказано в программе конференции. Кто такая эта самая Дохини, выяснить не удалось.

В той же программе говорилось:

«Плата за вход чисто символическая».

И далее, мельчайшими буквами:

«Ориентировочно — 30 долларов с человека».

Что именно символизировали эти тридцать долларов, я не понял.

— Ты деньги внес? — спросила Тася.

— Еще нет.



— Внеси.  
— Успею.  
— Как ты думаешь, могу я уплатить через «Америкен экспресс»?  
— Я уплачу, не беспокойся.  
— Это неудобно.  
— Почему? Ведь ты идешь со мной. Иными словами — я тебя приглашаю.  
— Знаешь, что мне в тебе нравится?  
— Ну, что?  
— Ты расчетлив, но в меру. Соблюдаешь хоть какие-то минимальные приличия.  
— Многие, — говорю, — называют это интеллигентностью.  
В ответ прозвучало:  
— Ты всегда был интеллигентом. Помнишь, как ты добровольно ходил в филармонию?..

Я спросил:  
— Куда же мы денем щенка?  
— Оставим в гостинице. Видишь, какой он послушный и умный. Таксы вообще невероятно умные... Только он будет скучать...  
— Если он такой умный, — говорю, — и ему нечего делать, пусть выстирает мои фланелевые брюки.  
— Не остри, — сказала Тася.  
— Последний раз. Вот слушай. Такса — это... Такса — это сеттер, побывавший в автомобильной катастрофе.  
В ответ прозвучало:  
— Ты деградируешь.

— Ехать в Беверли-Хиллс рановато, — сказала Тася. — Давай закажем кофе. Просто выпьем кофе. Как тогда в студенческом буфете.

Я позвонил. Через три минуты явился официант с подносом. Спрашивает:

— Заказывали виски?  
Это был уже второй такой случай. Какая-то странная путаница. Тася сказала:  
— Дело в твоём гнусном произношении.

Мы выпили. Я расчувствовался и говорю:

— Знаешь, что главное в жизни? Главное то, что жизнь одна. Прошла

минута, и конец. Другой не будет... Вот мы пьем бренди...

— Виски.

— Ну, хорошо, виски. Вот ты посмотрела на меня. О чем-то подумала. И все — прошла минута.

— Давай не поедem в Беверли-Хиллс, — сказала Тася.

Этого мне только не хватало.

Тут позвонил Абрикосов и спрашивает:

— У тебя случайно нет моего папы?

— Нет, — говорю, — а что?

— Пропал. Как сквозь землю провалился. И где разыскивать его, не знаю. Я даже фамилии его не запомнил. Кстати, о фамилиях...

Абрикосов — поэт. И голова у него работает по-своему:

— Кстати, о фамилиях. Ответь мне на такой вопрос. Почему Рубашкиных сколько угодно, а Брючниковых, например, единицы? Огурцовы встречаются на каждом шагу, а где, извини меня, Помидоровы?

Он на секунду задумался и продолжал:

— Почему Столяровых миллионы, а Фрезеровщиковых — ни одного?

Еще одна короткая пауза, и затем:

— Я лично знал азербайджанского критика Шарипа Гудбаева. А вот Хаудуюдыевы мне что-то не попадались.

Абрикосов заметно воодушевился. Голос его звучал все тверже и убедительнее:

— Носовых завались, а Ротовых, прямо скажем, маловато. Тюльпановы попадаютcя, а Георгиновых я лично не встречал.

Абрикосов высказывался с нарастающим пафосом:

— Щукиных и Судаковых — тьма, а где, например, Хариусовы или, допустим, Форелины?

В голосе поэта зазвучали драматические нотки:

— Львовых сколько угодно, а кто встречал хоть одного человека по фамилии Тигров?

В шесть подали автобус. Сквер перед гостиницей был ярко освещен. Кто-то из наших вернулся, чтобы одеться потеплее.

Все сели по местам. Автобус тронулся. Юзовский демонстративно вытащил из портфеля бутылку граппы. У литовского поэта Венцловы нашлись бумажные стаканчики. Сам Венцлова пить отказался.

Остальные с удовольствием выпили. Дарья Белякова вынула из

сумочки теплую котлету. Сионист Гурфинкель достал из кармана увесистый бутерброд, завернутый в фольгу. И наконец, мистер Хиггинс добавил ко всему этому щепотку соли.

Юзовский в который раз повторил:

— В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда.

Бутылка циркулировала по кругу. На полу между рядами были выставлены закуски. Лица повеселели.

Тасю я потерял из виду сразу же. Причем в автобусе стандартного размера. Была у нее такая фантастическая способность — исчезать.

Это могло случиться на диссидентской кухне. В музейном зале. Даже в приемной у юриста или невропатолога.

Неожиданно моя подруга исчезает. Затем вдруг появляется откуда-то. Точнее, оказывается в поле зрения.

Я спрашивал:

— Где ты была?

Ответ мог быть самым неожиданным. Допустим: «Спала в кладовке». Или: «Дрессировала соседского кота». И даже: «Загорала на балконе». (Ночью? В сентябре?!)

В общем, Таська пропала. Объявилась перед самым выходом. Напомнила, что я должен купить ей билет.

Особняк Дохини Грейстоун напоминал российскую помещичью усадьбу. Клумба перед главным входом. Два симметричных флигеля по бокам. Тюлевые занавески на окнах. И даже живопись не менее безобразная, чем в провинциальных российских усадьбах.

По залу уже бродили какие-то люди. Одни с бокалами. Другие с бумажными тарелками в руках.

Лицо одного симпатичного негра показалось мне знакомым. Спрашиваю Панаева:

— Мог я его где-то видеть?

Панаев отвечает:

— Еще бы. Это же Сидней Пуатье.

Суть мероприятия была ясна. Организаторы форума хотели познакомить русскую интеллигенцию с местной. А может быть, способствовать возникновению деловых контактов. Ведь если говорить честно, кто из русских писателей не мечтает о Голливуде?!

Особого шика я не заметил. Какая-нибудь финская баня райкомовского

уровня гораздо шикарнее. Не говоря о даче Юлиана Семенова в Крыму.

Откуда-то доносилась прекрасная музыка. Соло на виолончели под аккомпанемент ритмической группы. Где расположились музыканты, было не ясно. Может быть, в саду под кронами деревьев. Или на балконе за портьерой.

Гурфинкель сказал:

— Похоже, что это сам Ростропович.

— Не исключено, — говорю.

— Как в лучших домах Филадельфии, — подхватил Большаков.

— Калифорнии, — поправил Лемкус.

Через минуту все прояснилось. В одной из комнат на шкафу стоял транзисторный магнитофон.

— Только и всего? — поразился Юзовский.

После ужина начались выступления. Американскую интеллигенцию представляла какая-то взволнованная дама. Может, это и была сама Грейстоун, не знаю.

Она говорила то, что десятилетиями произносится в аналогичных случаях. Речь шла об американском плавильном котле. О предках-эмигрантах. О том, с каким упорством ей пришлось добиваться благосостояния. В конце она сказала:

— Я трижды была в России. Это прекрасная страна. Что же говорить о вас, если даже я по ней тоскую...

Русскую интеллигенцию представлял Гуляев. Ему поручили это как бывшему юристу. В провинции до сих пор есть мнение, что юристы красноречивы.

Гуляев выступал темпераментно и долго. Он тоже говорил все, что полагается. О насильственной коллективизации и сталинских репрессиях. О сельскохозяйственном кризисе и бесчинствах цензуры. О закрытых распределителях и государственном антисемитизме. В конце он сказал:

— Россия действительно прекрасна! И мы еще въедем туда на белом коне!

Литвинский наклонился к Шагину и говорит:

— После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов!..

Затем попросил слова художник Боровский. Как выяснилось, он только что приехал на своей машине. Боровский в отчаянии прокричал: — Катастрофа! Я вез участникам форума ценный подарок. Портрет Солженицына размером три на пять. Я вез его на крыше моей «тойоты». В

районе Детройта портрет отвязался и улетел. Я попытался догнать его, но безуспешно. Есть мнение, что он уже парит над Мексикой...

Затем выступили писатели как авторитарного, так и демократического направления. В качестве союзника те и другие упоминали Бродского. И я в который раз подумал: «Гений противостоит не толпе. Гений противостоит заурядным художникам. Причем как авторитарного, так и демократического направления».

И еще я подумал с некоторой грустью:

«Бог дал мне то, о чем я его просил. Он сделал меня рядовым литератором, вернее — журналистом. Когда же мне удалось им стать, то выяснилось, что я претендую на большее. Но было поздно.

Претензий, следовательно, быть не может».

Я ощущал какую-то странную зыбкость происходящего. Как будто сидел в переполненном зале. Точнее, был в зале и на сцене одновременно. Боюсь, что мне этого не выразить. Кстати, поэтому-то я и не художник. Ведь когда ты испытываешь смутные ощущения, писать рановато. А когда ты все понял, единственное, что остается, — молчать.

Были еще какие-то выступления. Помню, художника Бахчаняна критиковали за формализм. Говорили, что форма у него преобладает над содержанием.

Художник оправдывался:

— А что если я на содержании у художественной формы?..

Тасю я почти не видел. Она исчезала. Потом возвращалась с брикетом сливочного мороженого. С охапкой кленовых листьев. Или с небольшим аквариумом, в котором плескались золотые рыбки.

Затем она подошла ко мне и говорит:

— Ты должен помочь этому человеку.

— Какому человеку?

— Его зовут Роальд. Роальд Маневич. Он написал книгу. Теперь ему нужен издатель. Роальд специально приехал на эту конференцию.

Я увидел сравнительно молодого человека, хмурого и нервного. Он шагал по галерее, топая ногами. Даже отсюда было заметно, какие у него грязные волосы.

— Найди ему издателя, — сказала Тася.

— Что он написал?

— Книгу.

— Я понимаю. О чем?

— Про бездну.

— Не понял?

— Книга про бездну. Про бездну как таковую. Что тут непонятного?!  
Поговори с издателями. А нет, так я сама поговорю.

Тогда я сказал, чтобы оттянуть время:

— Пускай он даст мне свою рукопись. А я решу, какому издателю ее целесообразнее предложить.

Тася поднялась на галерею. Через минуту вернулась с объемистой рукописью. На картонной обложке было готическим шрифтом выведено:

«Я и бездна».

Тася сказала:

— Роальд предупреждает, что на шестьсот сорок восьмой странице есть опечатка.

— Это как раз не страшно, — говорю.

И думаю при этом — неплохо съездил в Калифорнию. Вернусь без копейки денег, зато со щенком. Да еще вот с этой рукописью.

Вечер прошел нормально. Большаков, естественно, обрушился на либералов из журнала «Партизан-ревью». От имени либералов выступил некий мистер Симс. Он сказал:

— Да, мы левые. И я не уверен в том, что это оскорбление. Мы, левые, первыми в Америке напечатали Фолкнера и Хемингуэя. Первыми заговорили о Модильяни и Джакометти. Мы, левые, раньше других подали свой голос в защиту Орлова и Щаранского...

После этого выступил Гурфинкель. Он сказал:

— Русский язык великий и могучий. Некоторые русские слова превратились в интернациональные. Например — «интеллигенция», «гласность», «погром»...

Гурфинкелю возразил Панаев. Напомнил, что иногда русские люди спасали евреев. Скрывали их от погромщиков. В ответ на это Беляков поинтересовался:

— А погромщики были не русские люди?

Затем была принята резолюция, осуждающая сталинизм. Ее подписали все, кроме литературоведа Шермана. Профессор Шерман заявил: — Я с покойниками не воюю.

Пора было ехать в гостиницу. Автобус уже минут двадцать стоял перед

входом. Вдруг Тася подошла ко мне и говорит:

— Прости, я ухожу с Роальдом.

— Не понял?

— Я ухожу с Роальдом Маневичем. Так надо.

— Это еще что за новости?

— Роальд такой несчастный. Я не могу его покинуть.

— Так, — говорю.

И затем:

— А теперь послушай. Мы с тобой расстались двадцать лет назад. Ты для меня совершенно посторонняя женщина. Но сюда мы пришли вместе. Нас видели мои знакомые. Существуют какие-то условности. Какие-то минимальные приличия. А значит, мы вместе уйдем отсюда.

— Нет, — сказала Тася, — извини. Я не могу его покинуть...

Она и в молодости была такая. Главное — это ее капризы.

\* \* \*

Бумагу из военкомата мне доставили первого апреля. Увы, это не было традиционной шуткой. Это был конец. Я не учел такой перспективы, как служба в армии.

Мне не хотелось говорить об этом Тасе. Я носил во внутреннем кармане голубоватый бланк, заполненный детским почерком, и молчал. Все это доставляло мне какое-то странное удовольствие. Я ждал подходящей минуты, чтобы эффектно сообщить Тасе грустную новость. Я с трудом подавлял ироническую гримасу.

Я был так доволен собственной хитростью. Вероятно, напоминал человека, дни которого сочтены. Ему говорят — оденься потеплее. А он-то знает, что смертельно болен. И только усмехается в ответ.

Как-то раз я увидел мою повестку на столе. Она лежала в центре, под сахарницей. Я думаю, Тася случайно обнаружила ее в моем кармане. Она плакала, когда я вернулся с работы. Я говорю:

— Перестань. А то я буду думать, что еще не все потеряно.

Тася говорит:

— Ужасно, когда люди прощаются с облегчением. А мы прощаемся с горечью. У нас остаются воспоминания.

Но я сказал ей, точнее, крикнул:

— Зачем мне воспоминания?! Ты мне нужна. И больше никто.

Я отвернулся, пошел в уборную и заплакал. Вернее, ощутил, что плачу. Теперь я думал, что все несчастья из-за этой гнусной повестки. До нее все было так прекрасно.

Целый год я вел себя нелепым образом. Был чем-то недоволен. На что-то жаловался. Кого-то обвинял.

Казалось бы, люби и все. Гордись, что Бог послал тебе непрошеную милость.

Читая гениальные стихи, не думай, какие обороты больше или меньше удались автору. Бери, пока дают, и радуйся. Благодарю судьбу.

Любить эту девушку — все, что мне оставалось. Разве этого недостаточно? А я все жаловался и роптал. Я напоминал садовника, который ежедневно вытаскивает цветок из земли, чтобы узнать, прижился ли он.

Настал последний день. Я сказал Тасе — не провожай меня. Надел рюкзак. Спустился вниз по лестнице.

Я вдруг стал ужасно наблюдательным. Я прочитал ругательства на стенах. Заметил детский велосипед около лифта. Белый край газеты в почтовом ящике. Плоские окурки возле батареи. Затем вышел на улицу и поднял глаза.

Тася смотрела на меня, прикрывшись занавеской.

«Ну, все», — про себя говорю.

Тася отрицательно покачала головой.

Я направился к зданию военкомата. Шел и повторял несколько цифр: 7-3-2-9-0-4.

Это был номер телефона. Единственная интересующая меня комбинация в бесконечном разнообразии чисел.

Вот телефонная будка. Чье-то имя нацарапано гвоздем. В глубине — металлический ящик с диском и цифрами. Ты достаешь монету — плоский железный кружок с рельефом, едва заметным на ощупь. Опускаешь ее в узкую косую щель. Кусочек металла, замерев на секунду, проваливается внутрь. Он блуждает среди невидимых контактов, затем щелчок — из пустоты выплывает хриловатый Тасин голос:

— Алло!.. Алло!.. О господи, алло!..

Я и не подозревал, что в городе столько телефонных будок.

Чьи-то лица проплывали мимо, строгие и безучастные, как утренние газеты. Вряд ли хоть одно из них было отмечено печатью гения. А впрочем, знаков обреченности я не увидел тоже.



Из-под арки комиссариата вышла строем группа юношей. Они были в изношенных джинсах, кедах, рваных пиджаках. Рядом шагал молодой офицер с туго набитым гражданским портфелем. На шее у него белела узкая полоска воротничка. Я должен был идти вперед.

\* \* \*

Я поднялся в свой номер. Снял туфли. Подошел к зеркалу. Узкий лоб неандертальца, тусклые глаза, безвольный подбородок. Возраст у меня такой, что каждый раз, приобретая обувь, я задумываюсь:

«Не в этих ли штиблетах меня будут хоронить?..»

Недавно я заполнял какую-то официальную бумагу. Там была графа «цвет волос». Я автоматически вывел — «браун». В смысле — шатен. А секретарша зачеркнула и переправила на «грей». То есть — седой.

Я принял душ. Однако бодрости у меня не прибавилось. Я не мог уяснить, что же произошло. Двадцать лет назад мы расстались. Пятнадцать лет не виделись. У меня жена и дети. Все нормально.

И вдруг появляется эта, мягко говоря, неуравновешенная женщина. Привносит в мою жизнь непомерную долю абсурда. Ворошит давно забытое прошлое. И в результате заставляет меня страдать...

Телефонный звонок:

— Две порции коньяка, лимон и сода?

— В чем дело? — спрашиваю.

— Коньяк заказывали?

В этот раз я даже не удивился.

— Да, — говорю, — конечно. Сколько можно ждать?!

Я решил позвонить нашей дочери. Взглянул на часы — без пяти одиннадцать. Это значит, в Нью-Йорке около двух. Впрочем, дочь ложится поздно. Особенно по субботам.

Недаром я говорил ей:

— Мой день заканчивается вечером. А твой день — утром.

Звоню. Подходит дочь.

— Прости, — слышу, — но у меня гости.

— Я, между прочим, звоню из Лос-Анджелеса. Хотел поинтересоваться, как дела?

— Нормально. Я уволилась с работы. Ты здоров?  
— Более или менее... А что случилось?  
— На работе? Ничего особенного... Мама знает, что ты в Калифорнии?  
— Догадывается... Катя!  
— Ну что?  
— Я хочу сказать тебе одну вещь.  
— Только покороче.  
— Ладно.  
— И не потому, что гости. Просто это дорого.  
— Вот слушай. Ты, конечно, думаешь, что я обыкновенный жалкий эмигрант. Неудачник с претензиями. Как говорится, из бывших...  
— Ну вот, опять... Зачем ты это говоришь?  
— Знаешь, кто я такой на самом деле?  
— Ну, кто? — спросила дочь, чуть заметно раздражаясь.  
— Сейчас узнаешь.  
— Ну?  
Я сделал паузу и торжественно выговорил:  
— Я... Слушай меня внимательно... Я — чемпион Америки. Знаешь, по какому виду спорта?  
— О господи... Ну, по какому?  
— Я — чемпион Америки... Чемпион Соединенных Штатов Америки — по любви к тебе!..

Я положил трубку. На душе было тошно. Даже в бар идти не хотелось. Выпьешь как следует, а потом будет еще тоскливее.

Может быть, это кризис? Если да, то какой именно? Экономический, творческий, семейный?

Вот и хорошо, подумал я. Кризис — это лучшее время для перестройки.

И пошел к Абрикосову за щенком.

Тася появилась рано утром. Причем довольно бодрая и требовательная. Спросила: почему я не заказываю кофе? Где хранятся мои сигареты? А главное, как поживает наш щенок?

Я тоже спросил:

— А где Роальд Маневич?

(Это имя с ненужной отчетливостью запечатлелось в моей памяти.)

Ответ был несколько расплывчатый:

— Маневич — это такая же фикция, как и все остальное!

Я напомнил Тасе, который час. Сделал попытку уснуть. Вернее, притворился, что сплю.

Но тут проснулась собачонка. Вытянула задние лапы. Затем присела, оросив гостиничный ковер. Несколько раз торжествующе пискнула. И наконец припала к античным Тасиным сандалиям.

— Прелесть, — сказала Тася, — настоящий мужчина. Единственный мужчина в этом городе.

— Вынужден тебя разочаровать, — говорю, — но это сука.

— Ты уверен?

— Как в тебе.

— А мне казалось...

— Ты ее с кем-то перепутала. Возможно, с Роальдом Маневичем...

— Значит, это — она? Бедняжка! Знала бы, что ее ожидает в жизни.

И затем:

— Я хотела назвать его — Пушкин. Теперь назову ее Белла. В честь Ахмадулиной.

Я подумал — Таська не меняется. Да так чаще всего и бывает. Человек рождается, страдает и умирает — неизменный, как формула воды H<sub>2</sub>O. Меняются только актеры, когда выходят на сцену. Да и то не все, а самые лучшие.

Таська не меняется. Она все такая же — своенравная, нелепая и безнравственная, как дитя.

Я даже не поинтересовался, что у Таси было с Роальдом Маневичем. Могу поклясться — что-нибудь фантастическое.

Подробности меня не интересуют. Тем более что форум заканчивается. Сегодня последний день. Завтра утром все разъедутся по домам. И, как говорится, прощайте, воспоминания!

\* \* \*

Армейская служба произвела на меня более достойное впечатление, чем я ожидал. Мои знакомые, как правило, говорили на эту тему с особым драматизмом. У меня не возникло такого ощущения.

Наше существование было продумано до мелочей. Устав

предусматривал любую деталь нашей жизни. Все дни были, как новобранцы, — совершенно одинаковые.

Будучи застрахован от необходимости совершать поступки, я лишь выполнял различные инструкции. Для тягостных раздумий просто не оставалось времени и сил.

Тася мне не писала. Завидев почтальона, я равнодушно отворачивался.

Я узнал, что при штабе есть команда боксеров. Причем, как всегда, не хватало тяжеловеса. Я возобновил тренировки.

Жизнью я был, в принципе, доволен. На учебном пункте мной владело равнодушие. Затем оно сменилось удовлетворением и покоем. Досуга стало больше, зато я уставал на тренировках. Так что мне было не до переживаний.

Вечера я проводил за шахматами. А когда мы переехали в спортивный городок на берегу озера, увлекся рыбной ловлей.

Я волновался, глядя на кончик поплавок. Других переживаний мне не требуется. Хватит.

В декабре мне предоставили недельный отпуск. Я уехал в Ленинград. Остановился у тетки. Оказавшись в центре города, чуть не заплакал.

Не красота поразила меня. Не решетки, фонари и шпили. Такой Ленинград отлично воспроизведен на коробках фабрики Микояна. С этим Ленинградом мы как будто и не расставались.

А сейчас я разглядывал треснувшую штукатурку на фасаде Дворца искусств. Сидел под облетевшими деревьями у Кузнечного рынка. Останавливался возле покосившихся табачных ларьков. Заходил в холодные дворы с бездействующими фонтанами. Ездил в гроыхающих, наполненных светом трамваях.

Пока не ощутил, что я дома.

Я позвонил друзьям. Я был уверен — стоит оказаться дома, и все, конечно, захотят пожать мне руку.

Но Куприянов был в отъезде. Лева Балиев вежливо сказал, что занят. Арик Батист вообще меня не узнал.

Только Федя Чуйков вроде бы обрадовался мне по телефону. И то мы попрощались, не договорившись о встрече.

Все, что я считал праздником, оставалось для моих знакомых нормальной жизнью. Нормальной будничной жизнью, полной забот.

Я поехал в общежитие на Симанскую. Вспомнил номер комнаты, где

проживали Рябов и Лепко. Иначе вахтерша не соглашалась пропустить меня.

Рябова я обнаружил в читальном зале. Он, как мне показалось, был рад нашей встрече. Долго расспрашивал меня о службе в армии. Вид у него при этом был смущенный.

Мы испытывали какую-то неловкость. Рябов был студентом третьего курса. Я — военнослужащим без четких перспектив. Говорить было, в сущности, не о чем.

Мы выпили бутылку портвейна и замолчали. Рябов спросил, приходилось ли мне чистить уборную. Я ответил, что да, и не раз. Он спросил — ну и как? Я ответил — нормально.

Наконец я решился встать и уйти. В последний раз оглядел комнату, стены которой были увешаны шутливыми транспарантами. Мне запомнилось:

«Не пытайтесь делать гоголь-моголь из крутых яиц!»

Над кроватями висели фотографии джазистов. Тумбочки были завалены книгами. Все носило отпечаток беззаботной студенческой жизни.

Друзья не хотели рассказывать о себе. Возможно, считали, что это бестактно. Когда мы прощались, Рябов спросил:

— Будешь после армии учиться дальше?

Я ответил, что надо подумать.

— А где твоя униформа? — заинтересовался вдруг появившийся Лепко.

— Дома, — ответил я.

О Тасе мы даже не заговаривали. Выразительно молчали о ней.

Наконец я ушел. Мои друзья, вероятно, почувствовали облегчение. Это естественно.

Едешь, бывало, в электричке с дружеской компанией. Вдруг появляется нищий с баяном. Или оборванная женщина с грудным ребенком. И тотчас же возникает гнетущая ситуация. Хочется сунуть нищим мелочь, чтобы они поскорее ушли.

Начинаешь успокаивать себя. Вспоминать истории про нищих, которые строят дачи. Или разъезжают на досуге в собственных автомобилях. Короче, с успехом избегают общественно полезного труда.

Присутствие человека в рваных ботинках действует угнетающе. Вынуждает задумываться о капризах судьбы. Будоражит нашу дремлющую совесть. Напоминает о шаткости человеческого благополучия...

А что, если во мне за километр ощущается неудачник? Что, если обо

мне стараются забыть, как только я уйду?

Я зашел в кондитерскую, чтобы позвонить Тасе из автомата. Я знал, что рано или поздно это сделаю.

К телефону подошла домработница, которая меня не узнала. Через минуту я услышал стук высоких каблуков и говорю:

— На тебе коричневые туфли с пряжками. Те, что мы купили в Гостином дворе.

Тася закричала:

— Где ты?

— Хочешь меня видеть?

Наступила пауза. Может, она думала, что я звоню с Камчатки?..

— Милый, я сегодня занята... Ведь ты надолго?

— Нет... Веселись, развлекайся... Я жалею, что позвонил.

— Я же не знала... Ну, хочешь, поедем со мной? Только это не совсем удобно. Поедем?

— Нет.

— Ты милый, родной. Ты мой самый любимый. И мы еще увидимся. Но сегодня я занята.

Когда человека бросают одного и при этом называют самым любимым, делается тошно.

И все-таки я спросил:

— Могу я встретить тебя ночью и проводить домой?

— Нет, — сказала Тася, — позвони мне завтра утром. Позвонишь?

— Хорошо.

— Скажи — клянусь, что позвоню.

— Клянусь.

Тася продолжала говорить. Однако я запомнил только слово — «нет». Все попытки уравновесить его другими словами казались оскорбительной и главное — безнадёжной затеей.

Ночью я сел в архангельский поезд. Я думал — кончено! Одинокий путник уходит дальше всех. Я вновь упал, и это моя последняя неудача. Отныне я буду ступать лишь по твердому грунту.

Мои печали должны раствориться в здоровом однообразии казарменного существования. Выступления на ринге помогут избавиться от лишних эмоций. Я сумею превратиться в четко действующий и не подверженный коррозии механизм...

В рассеянной утренней мгле желтели огни полустанков. Кто-то играл на гитаре: «Сиреневый туман бесшумно проплывает...»

— Солдат, иди пить водку! — звали меня бородатые геологи.

Но я отказывался либо притворялся, что сплю.

К штабу я подъехал вечером. Захожу в канцелярию. Майор Щипахин заполняет ведомость нарядов. На лбу его розовый след от фуражки. Португепя лежит на столе.

Я начинаю докладывать. Щипахин останавливает меня:

— Прибыл раньше времени? Отлично. Хочешь яблоко? Держи.

\* \* \*

Наступил последний день конференции. (Все называли это мероприятие по-разному — конференция, форум, симпозиум...)

Было проведено в общей сложности 24 заседания. Заслушано 16 докладов. Организовано четыре тура свободных дискуссий.

По ходу конференции между участниками ее выявились не только разногласия. В отдельных случаях наблюдалось поразительное единство мнений.

Все единодушно признали, что Запад обречен, ибо утратил традиционные христианские ценности.

Все охотно согласилось, что Россия — государство будущего, ибо прошлое ее ужасающе, а настоящее туманно.

Наконец все дружно решили, что эмиграция — ее достойный филиал.....

Во многих случаях известные деятели эмиграции пошли на компромисс ради общественного единства. Сионист Гурфинкель признал, что в эпоху культа личности были репрессированы не только евреи. За это Большаков согласился признать, что не одни лишь евреи делали революцию.

Были, разумеется, споры и даже конфликты. Например, Дарья Владимировна Беякова оскорбила литературоведа Эрдмана. За Эрдмана вступились Литвинский и Шагин. В частности, Шагин заметил:

— Еще вчера ты с Левого Эрдманом дружила. А сегодня Лева Эрдман — дерьмо. Завтра ты и обо мне скажешь, что я дерьмо.

Дарья Владимировна охотно согласилась:

— Возможно, и скажу. Но скажу, можешь быть уверен, прямо в глаза.  
Шагин подумал и говорит:  
— Этого-то я и опасаясь.

На одном из заседаний вспомнили про Сахарова и Елену Боннэр. Заговорили о ее судьбе. (Сахаров тогда находился в Горьком.) Решили направить петицию советским властям. Потребовать, чтобы Елену Георгиевну выпустили на Запад.

Вдруг Большаков сказал:

— Почему бы ей не сесть в тюрьму?! Все сидят, а она чем же лучше других?! Оттянула бы годика три-четыре. Вызвала бы повышенный международный резонанс.

Все закричали:

— Но ведь она больная и старая женщина!

Большаков объяснил:

— Вот и прекрасно. Если она умрет в тюрьме, резонанс будет еще сильнее.

В библиотеке Сент-Джонс обсуждалось коллективное послание Нэнси Рейган. Сути этого послания я так и не уяснил. Почему решили обратиться именно к ней? Почему не к самому мистеру Рейгану? Бурной реакции в обоих случаях не предвиделось. Эмигранты желали Нэнси Рейган доброго здоровья. Выражали удовлетворение ее общественной деятельностью. А главное, заклинали ее оберегать и лелеять мужа. «На радость, — именно так было сформулировано, — всего прогрессивного человечества».

Составил это нелепое письмо таинственный религиозный деятель Лемкус. Он же раньше других скрепил его витиеватой кучерявой подписью.

Собравшиеся выслушали ничтожный текст без эмоций. Молча проголосовали — за. Один лишь Шагин мрачно произнес:

— Вы путаете эту даму с Крупской.

К часу дня я перестал вести записи и спрятал магнитофон. Оставались еще какие-то фантастические выборы. А так — я мог лететь домой ближайшим рейсом.

С Тасей я простился. Так и сказал ей утром:

— Давай на всякий случай попрощаемся.

— Как это — на всякий случай? Что может случиться?

— Возможно, я сегодня улечу.



- Прямо сейчас?
- Может быть, вечером.
- Значит, мы еще увидимся.
- Вдруг я тебя не застаю.
- Застанешь.

Я подумал — а что, если она собирается лететь в Нью-Йорк? По-моему, это будет уже слишком. В нашем городе и так сумасшедших хватает. Да и утомили меня несколько все эти приключения.

Еще я подумал — вот она, моя юность. Сидит, роняет пепел мимо керамического блюда с надписью «Вспоминай Техас!». Хотя находимся мы в центре Лос-Анджелеса.

Вот оно, думаю, мое прошлое: женщина, злоупотребляющая косметикой, нахальная и беспомощная. И это прошлое вдруг становится моим настоящим. А может, упаси Господь, и будущим...

- Я еще тут должен выяснить насчет собаки, — говорю.
  - То есть?
  - В связи с ее транспортировкой... Должны быть какие-то правила.
  - Все очень просто, я узнавала. Тебе придется купить специальный ящик. Что-то вроде клетки. Это недорого, в пределах сотни.
  - Ясно, — говорю.
- Самое любопытное, что я действительно всегда мечтал иметь щенка...

В кулуарах меня окликнул человек невысокого роста, лысый, с хитрыми и бойкими глазами. Касаясь моего рукава, он заговорил:

- Насколько я знаю, вы имеете отношение к прессе.
  - Косвенное, — сделал я попытку уклониться.
  - Этого достаточно. Дело в том, что у меня есть статья. Вернее, небольшое исследование. Или даже эссе. Хотелось бы пристроить его в какую-нибудь газету.
  - Что за эссе, — спрашиваю, — как называется?
- Незнакомец охотно пояснил:
- Эссе называется «Микеланджело живет во Флашинге».
  - Это о чем же?
  - О творчестве замечательного художника и скульптора, который проживает во Флашинге. Он-то и есть Микеланджело. В нарицательном смысле.
  - Что за скульптор? Как фамилия?
  - Туровер. Александр Матвеевич Туровер.

— А кто написал эссе? Кто автор?  
— Эссе написал я, с вашего разрешения.  
Тогда я спросил:  
— А вы, простите, кто будете? С кем имею честь?..  
Незнакомец тихим голосом представился:  
— Туровер. Александр Туровер. Александр Матвеевич Туровер...

Было ясно, что он всегда представляется именно так. Сначала называет фамилию. Затем еще раз — фамилию плюс имя. Затем, наконец, фамилию, имя, отчество. Как будто одной попытки мало. Как будто разом ему не передать всего масштаба собственной личности.

Тут я окончательно запутался и говорю:

— Минуточку. Значит, так. Поправьте меня, если я ошибаюсь... Вы — художник Туровер. И вы же — автор статьи о художнике Туровере. Причем хвалебной статьи, не так ли?

— Более того, апологетической.

Я все еще чего-то не понимал:

— Вы написали эссе о собственном творчестве? Может, я что-то путаю?

Мой новый знакомый поощрительно улыбнулся:

— Вы абсолютно правильно излагаете суть дела.

Тогда я подумал и говорю:

— Дайте мне копию. Я передам ее в «Слово и дело».

— Копия у вас, — поблескивая глазами, сказал Туровер.

— Что значит — у меня? Где именно?

— В портфеле, — был ответ.

Я нервно раскрыл свой портфель.

Там вместе с портативным магнитофоном и деловыми бумагами лежал незнакомый конверт.

Как он сюда попал? Кто мне его подсунул?..

Я решил не думать об этом. Как часто повторяет Юзовский: в любой ситуации необходима доля абсурда.

(ПРИМЕЧАНИЕ. Корреспонденция Туровера «Микеланджело живет во Флашинге» опубликована 14 января 1986 года за подписью «А. Беспристрастный».)

Я решил позвонить в гостиницу. Узнать, чем занимается Тася. Выяснить, как поживает наш щенок.

Тасю я не застал. Зачем-то позвонил снова. Потом еще раз. Как будто

надеялся, что подойдет собака...

Выборы должны были состояться под открытым небом. Для этой цели городская администрация выделила пустырь между католической библиотекой и зданием суда. За ночь активисты сколотили трибуну. На фанерных стендах возвышались портреты Гинзбурга, Орлова, Щаранского. Из динамиков по всей округе разносилось:

Поручик Голицын, достаньте бокалы,  
Корнет Оболенский, налейте вина!..

Надлежало избрать троих самых крупных государственных деятелей будущей России. Сначала президента. Затем премьер-министра. И наконец, лидера оппозиционной партии. Эти трое должны были затем сформировать правительство народного единства. Верховный Совет заменялся Государственной Думой. Совет Министров преобразовывался в Коллегию Народного Хозяйства. На месте распушенной Коммунистической партии должна была возникнуть оппозиционная. Что за оппозиционная партия — было еще не совсем ясно. Оппозиция — к чему? Этого еще тоже не решили.

Выбрать должны были троих. А выдвинутых оказалось — человек сорок. Государственных деятелей, как известно, в эмиграции хватает.

Речь могла идти лишь о самых видных деятелях. О тех, кого уважают все без исключения. Я говорю о Буковском, Щаранском, Орлове и других столь же замечательных людях.

Все дни, пока шла конференция, между участниками циркулировали различные списки. Одни кандидатуры вычеркивались. Другие поспешно вносились. Наиболее острая дискуссия развернулась вокруг имени Солженицына. Почвенники считали его оптимальной фигурой. Либералы горячо протестовали, обвиняя Солженицына в антисемитизме. Восторжествовала компромиссная точка зрения: «Солженицын не государственный деятель, а писатель. Его дело — писать». С такой же формулировкой были отклонены кандидатуры Аксенова, Гладилина, Войновича, Львова. Тем острее шла борьба между оставшимися претендентами.

Затем возникло одно неожиданное соображение. Бывший прокурор Гуляев вышел на трибуну и сказал:

— Господа! Не исключено, что кто-то заподозрит меня в антисемитизме. Тем не менее хочу задать вопрос. А именно — может ли

еврей быть председателем Всероссийской Государственной Думы? Может ли еврей руководить Всероссийской Коллегией Народного Хозяйства? И наконец, может ли еврей быть лидером всероссийской политической оппозиции? Короче, может ли еврей стоять у руля всероссийской государственности?

— Почему бы и нет? — спросил Гурфинкель.

Затем уверенно добавил:

— У руля всероссийской государственности может и должен стоять еврей.

Неожиданно Гурфинкеля поддержал Иван Самсонов:

— Еврей хотя бы не запьет!

Гуляев дождался тишины:

— Убежден, что возглавлять русский народ должны люди славянского происхождения!

Из толпы раздался крик:

— Вы бы это товарищу Сталину посоветовали!..

Тем не менее все задумались. Эмиграция наша — еврейская. Русских среди нас — процента три. Значит, подавляющее большинство кандидатов на этих идиотских выборах — евреи. Могут ли они возглавить будущее российское правительство?

— Тем более, — закричал Юзовский, — что это уже имело место в семнадцатом году!..

В результате число кандидатов заметно уменьшилось. На должность Председателя Государственной Думы баллотировались Воробьев, Чудновский и Михайлович. На место Президента Коллегии — Гуляев, Шагин и Бурденко. В лидеры оппозиции метили — Глазов, Акулич и какой-то сомнительный Харитоненко.

Непосредственно к выборам приступили около шести.

Происходило это следующим образом. На трибуну поднимался оратор. Давал характеристику очередному претенденту. Говорил о его правозащитных заслугах. О выпавших на его долю испытаниях. О лагерях и тюрьмах, которые не могли его сломить. Затем на трибуну выходил следующий оратор. Сообщал о том же человеке нечто компрометирующее. А на его место выдвигал нового кандидата.

О Чудновском было сказано — пьет. О Воробьеве — склонен к политическим шатаниям. О Михайловиче — груб и неколлегиален.

Чудновский вышел на трибуну и сказал:

— Ради такого дела брошу пить.

Его спросили:

— Когда?

Чудновский ответил:

— Сразу же после завтрашнего банкета...

Затем началось голосование. Мистер Хиггинс с тремя американскими волонтерами подсчитывал голоса. Председателем Всероссийской Государственной Думы был избран Чудновский.

Затем избирали Президента Коллегии. Требовался человек с административными наклонностями. Вспомнили, что диссидент Бурденко, уезжая из Союза, ловко перепродал мотоцикл. Его конкуренты Гуляев и Шагин хозяйственностью не отличались. Настолько, что Гуляев умудрился снять в Астории квартиру без водопровода. Шагин проявил себя еще нелепее. А именно — полностью возвратил свой долг Толстовскому фонду.

Председателем стал Бурденко.

Третьим выбирали лидера оппозиции. На этот пост баллотировались Глазов, Акулич и Харитоненко. Глазова представлял Юзовский. Дал ему самую лестную характеристику. Назвал его вечным оппозиционером. Далее он сказал:

— Глазов с детства находился в оппозиции. В школе был оппозиционером. В техникуме был оппозиционером. В лагере был оппозиционером. Даже среди московских инакомыслящих Глазов был оппозиционером. А именно, совершенно не пил.

В эмиграции Глазов тоже был оппозиционером. Во-первых, не знал английского языка. Кроме того, принципиально донашивал скороходовские ботинки. И наконец, регулярно выписывал «Советские профсоюзы».

За Глазова проголосовало всего человек шесть.

Борис Акулич считался коллекционером неофициальной живописи. В этом качестве приобрел довольно шумную известность. Эмигрировал под знаменами непримиримой идейной борьбы.

Представлял Акулича Лемкус. Говорил о его бескорыстии, мужестве, нравственной стойкости. После чего раздался женский голос:

— Когда ты мне шестьдесят долларов вернешь?

Акулич шагнул к микрофону:

— Какие шестьдесят долларов? За что?

— За слайды, — ответила красивая женщина-фотограф, — мы ведь уславливались: пять долларов штука!

— Господа, — укоризненно и даже скорбно проговорил Акулич, — что

же это такое?! Я борюсь с тоталитаризмом, а вы мне про долги напоминаете?! Я о будущей России думаю, а вы мне говорите про какие-то слайды?! Не ожидал... Не ожидал...

За Акулича проголосовали двое — Лемкус и эта самая женщина-фотограф. Видно, решила, что с главы оппозиции легче будет получать долги.

Харитоненко я увидел впервые. Знаменит он был, как мне показалось, лишь своим дурным характером. Хотя поговаривали, что он редактировал какую-то газету. Затем умудрился со всеми поссориться. С некоторыми оппонентами даже подраться. Представляла его Дарья Владимировна Белякова.

За Харитоненко проголосовали трое. Все та же Белякова, ее дисциплинированный муж и, как это ни поразительно, сам Харитоненко. Услышав «кто за?», он мрачно поднял руку. Свою тяжелую руку боксера, навсегда дисквалифицированного еще в шестьдесят четвертом году.

Время шло. Лидера оппозиции не было. Должность оставалась вакантной. Собравшиеся выражали легкое неудовольствие. Кто-то уже поглядывал в сторону бара «Ди Эйч».

И тогда появился Самсонов. Он вышел на трибуну и заявил:

— Господа! Мы должны избавляться от предрассудков! Кто сказал, что лидером партийной оппозиции должен быть именно мужчина?! Что мешает выдвинуть на этот пост достойную и уважаемую женщину?! Мне кажется, есть подходящая кандидатура...

Тягостное предчувствие вдруг овладело мною. Я выронил зажигалку. Нагнулся. А когда поднял голову, женщина уже стояла на трибуне — молодая, решительная, в зеленом балахоне шинельного образца.

— Анастасия Мелешко! — выкрикнул Самсонов.

— Браво! — тотчас же закричали собравшиеся.

Из общего хора выделился звонкий баритон какого-то старого лагерника:

— Урки, бог не фраер, падай в долю! Лично я подписываюсь на эту марцифаль!..

В результате Таську избрали подавляющим большинством голосов.

После чего она заговорила, как Дейч, Аксельрод или Бабушкин:

— Вы являетесь свидетелями небывалого политического эксперимента. На ваших глазах создается российская оппозиционная партия!..

Дальше я не слушал. Я подумал — надо как следует выпить. Причем немедленно. Иначе все это может плохо кончиться.

В баре я дико напился. Видимо, сказалось утомление последних дней. Помню, заходили участники форума. О чем-то спрашивали. Громко беседовали. Кого-то изобличали.

Последним мне запомнился такой эпизод. В баре появились Литвинский и Шагин. Заказали по двойному виски с тоником. Далее Шагин резко повернулся и опрокинул свой фужер на брюки. При этом он даже матом не выругался. Просто заказал себе новый коктейль.

Все посмотрели на Шагина с уважением. Литвинский тихо произнес:  
— Святой...

Я заказал такси на восемь сорок. Вдруг зашли попрощаться Юзовский с Лемкусом. До этого я сам разыскал и обнял Панаева. Как стало ясно через два месяца — в последний раз. В марте Панаев скончался от рака.

В моем архиве есть семь писем от него. Вернее, семь открыток. Две из них содержат какие-то просьбы. В пяти других говорится одно и то же. А именно: «С похмелья я могу перечитывать лишь Бунина и Вас».

Когда Панаев умер, в некрологе было сказано:

«В нелегкие минуты жизни он перечитывал русскую классику. Главным образом — Бунина...»

Я собрал вещи. Еще раз покормил собаку. Сунул в бельевую корзину испачканное ею покрывало.

Из окна был виден странный город, напоминающий Ялту. Через все небо тянулась реклама авиакомпании «Перл». В изголовье постели лежала Библия на чужом языке. Я ее так и не раскрыл.

Прощай, город ангелов. (Хотя ангелов я здесь что-то не заметил.) Прощай, город обескровленных диетой манекенщиц. Город, изготовившийся для кинопробы. Город, который более всего желает нравиться.

Я вдруг подумал — уж лучше Нью-Йорк с его откровенным хамством. Там хоть можно, повстречав на улице знакомого, воскликнуть:

— Сто лет тебя не видел!..

В Лос-Анджелесе друзья могут столкнуться только на хайвее.

На душе у меня было отвратительно. Щенок копошился в приготовленной для него брезентовой сумке. День, остывая, приближался к

вечеру.

Тут мне на ум пришла спасительная комбинация. А именно — двойной мартини плюс телефонный разговор с Нью-Йорком.

Выпивку принесли минут через десять. Впервые я заказал ее сам. Раньше этим занимались какие-то добрые волшебники.

7-18-459-11-3-6... Семь, восемнадцать, четыреста пятьдесят девять, одиннадцать, три, шесть... В этих цифрах заключена была некая магическая сила. Тысячу раз они переносили меня из царства абсурда в границы действительной жизни. Главное, чтобы рядом оказался телефон.

К телефону подошел мой сын. Он поднял трубку и сосредоточенно, упорно замолчал. Потом, уподобляясь моей знакомой официантке из ресторана «Днепр», сказал без любопытства:

— Ну, чего?

Говорю ему:

— Здравствуй, это папа.

— Я знаю, — ответил мой сынок.

Недавно мы с женой выдумали ему громоздкое, однако довольно точное прозвище. А именно — «Маленький, хорошо оснащенный, круглосуточно действующий заводик положительных эмоций».

Я спросил:

— Как поживаешь?

— Это не я, — был ответ.

— То есть?

— Мама говорит, что это я. А это не я. Эта банка сама опрокинулась.

— Не сомневаюсь.

— Землю я собрал. И рыбки живы...

Я на секунду задумался:

— Что же ты в результате опрокинул? Бочку с пальмой или аквариум?

Я услышал тяжелый вздох. Затем:

— Да, и аквариум тоже...

— Что тебе привезти? — спрашиваю.

Хриплый голос отчеканил:

— Кетчуп! Кетчуп! Кетчуп!..

Я говорю:

— Ну, ладно, позови маму.

К телефону подошла моя жена, и я услышал:

— Не забудь про минеральную воду.



— Тебя не интересует, когда я вернусь?  
— Интересует.  
— Сегодня ночью.  
— Очень хорошо, — сказала моя жена.  
Хотел ей сообщить про щенка, но раздумал.  
Зачем предвосхищать события?

Тася появилась неожиданно, как всегда. Высыпала на диван пакеты.  
— Это тебе, — говорит.  
Затем вытаскивает из целлофанового чехла нелепый галстук с каким-то фаллическим орнаментом...  
— А это твоей жене.  
Выкладывает на стол коробку — духи или мыло.  
— Это детям.  
В физиономию мне летят разноцветные тряпки.  
— Это маме.  
Тася разворачивает китайский веер.  
Затем она долго рыдает у меня на плече. Вероятно, от собственной щедрости.

Тут я в который раз задумался — что происходит?! Двадцать восемь лет назад меня познакомили с этой ужасной женщиной. Я полюбил ее. Я был ей абсолютно предан. Она же пренебрегла моими чувствами. По-видимому, изменяла мне. Чуть не вынудила меня к самоубийству.

Я был наивен, чист и полон всяческого идеализма. Она — жестока, эгоцентрична и невнимательна.

Университет я бросил из-за нее. В армии оказался из-за нее...

Все так. Откуда же у меня тогда это чувство вины перед ней? Что плохого я сделал этой женщине — лживой, безжалостной и неверной?

Вот сейчас Таська попросит: «Не уходи», и я останусь. Я чувствую — останусь. И даже не чувствую, а знаю.

Сколько же это может продолжаться?! Сколько может продолжаться это безобразие?!

И тут я с ужасом подумал, что это навсегда. Раз уж это случилось, то все. Конца не будет. До самой, что называется, могилы. Или, как бы это поэтичнее выразиться, — до роковой черты.

— Ну, ладно, — говорю, — прощай.  
— Прощай... Когда же мы теперь увидимся?

— Не знаю, — говорю, — а что? Когда-нибудь... Звони.  
— И ты звони.  
— Куда?  
— Не знаю.  
— Тася!  
— Что? Ну что?  
— Ты можешь, — говорю, — сосредоточиться?  
— Допустим.  
— Слушай. Я тебя люблю.  
— Я знаю.  
— По-твоему, это нормально?  
— Более или менее... Ну все. Иди. А то как бы мне не расплакаться.  
Как будто не она уже рыдала только что минут пятнадцать.

Я направился к двери. Взялся за литую бронзовую ручку. Вдруг слышу:

— Погоди!

Я медленно повернулся. Как будто, скрипя, затормозили мои жизненные дороги, полные обид, разочарований и надежд.

Повернулся и говорю:

— Ну что?

— Послушай.

— Ну?

Я опустил на ковер брезентовую сумку. Почти уронил тяжелый коричневый чемодан с допотопными металлическими набойками.

И тут она задает вопрос, не слишком оригинальный для меня:

— У тебя есть деньги?

Пауза. Мой нервный смех...

Затем я без чрезмерного энтузиазма спрашиваю:

— Сколько?

— Ну, в общем... Как тебе сказать?.. Что, если мне понадобятся наличные?

Я протянул ей какие-то деньги.

Тася говорит:

— Огромное спасибо...

И затем:

— Хотя это и меньше, чем я ожидала...

Еще через секунду:

— И уж конечно, вдвое меньше, чем требуется.

Я спустился в холл. Сел в глубокое кресло напротив двери. Подумал — не заказать ли джина с тоником? Повсюду мелькали знакомые лица. Прошел Беляков, сопровождаемый Дарьей. Рувим Ковригин о чем-то дружески беседовал с Гурфинкелем. Леон Матейка прощался с высокой красивой дамой. Гуляев толкал перед собой чемодан на колесиках. Юзовский в тренировочном костюме дожидался лифта.

Мимо шел Панаев с архитектором Юдовичем. Заметил меня и говорит с хитроватой улыбкой:

— Самое время опохмелиться!

Тут я неожиданно все понял.

— Так это вы, — говорю, — для меня коньяк заказывали? И бренди?

В ответ старик приподнимает шляпу.

— Значит, не существует, — кричу, — добрых волшебников?

Панаев еще раз улыбнулся, как будто хотел спросить:

— А я?..

Вдруг я увидел Тасю. Ее вел под руку довольно мрачный турок. Голова его была накрыта абажуром, который при детальном рассмотрении оказался феской. Тася прошла мимо, не оглядываясь. Закурив, я вышел из гостиницы под дождь.

*Нью-Йорк*

*Ноябрь 1987*